

СТАНИСЛАВ
ЛЕМ

Солярис. Эдем. Непобедимый



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Станислав Лем

**Солярис. Эдем.
Непобедимый (сборник)**

«АСТ»
1959, 1961, 1964

УДК 821.162.1-312.9
ББК 84 (4Пол)

Лем С.

Солярис. Эдем. Непобедимый (сборник) / С. Лем —
«АСТ», 1959, 1961, 1964

ISBN 978-5-17-061751-7

«Солярис». Величайшее произведение Станислава Лема, ставшее классикой мировой прозы XX века. «Эдем» – один из самых ярких романов Лема, сочетающий в себе черты жесткой и антиутопической НФ. «Непобедимый» – произведение, объединяющее в себе высокую интеллектуальность философской притчи с увлекательностью традиционной «сюжетной» научной фантастики.

УДК 821.162.1-312.9
ББК 84 (4Пол)

ISBN 978-5-17-061751-7

© Лем С., 1959, 1961, 1964
© АСТ, 1959, 1961, 1964

Содержание

Солярис	6
Прибытие	6
Соляристы	12
Гости	21
Сарториус	26
Хари	34
«Малый Апокриф»	42
Совещание	55
Чудовища	64
Жидкий кислород	77
Разговор	86
Эксперимент	92
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Станислав Лем

Солярис. Эдем. Непобедимый

Stanisław Lem
SOLARIS
EDEN
NIEZWYCIEŻONY

© S. Lem, 1959, 1961, 1964

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Солярис

Прибытие

В девятнадцать ноль-ноль бортового времени я спустился по металлическим ступенькам в капсулу. В ней было ровно столько места, чтобы поднять локти. Я вставил наконец-ник шланга в штуцер, выступающий из стены, скафандр раздулся, и я уже не мог сделать ни малейшего движения. Стоял, вернее висел, в воздушном ложе, составляя единое целое с металлической скорлупой.

Подняв глаза, я увидел сквозь выпуклое стекло стены колодца и выше – лицо склонившегося над ним Моддарда. Потом лицо исчезло и стало темно – это наверху закрыли тяжелый предохранительный конус. Послышался восьмикратно повторенный свист электромоторов, которые дотягивали болты, потом писк воздуха в амортизаторах. Глаза привыкали к темноте. Я уже различал зеленоватый контур универсального указателя.

– Готов, Кельвин? – раздалось в наушниках.

– Готов, Моддард, – ответил я.

– Не беспокойся ни о чем. Станция тебя примет, – сказал он. – Счастливого пути!

Ответить я не успел – что-то вверху заскрежетало, и капсула вздрогнула. Инстинктивно я напряг мышцы. Но больше ничего не случилось.

– Когда старт? – спросил я и услышал шум, будто зернышки мельчайшего песка сыпались в мембрану.

– Уже летишь, Кельвин! Будь здоров! – загудел прямо в ухо голос Моддарда.

Прежде чем я как следует это осознал, прямо против моего лица открылась широкая щель, и через нее я увидел звезды. Напрасно я пытался отыскать альфу Водолея, к которой улетал «Прометей». Эта область Галактики была мне совершенно неизвестна. В узком окошке мелькала искрящаяся пыль. Я понял, что нахожусь в верхних слоях атмосферы. Неподвижный, обложенный пневматическими подушками, я мог смотреть только перед собой. Я летел и летел, совершенно этого не ощущая, только жар заливал меня неспешными коварными волнами. Смотровое окно наполнял красный свет. Я слышал тяжелые удары собственного пульса, лицо горело, шею щекотала прохладная струя воздуха из кондиционера. Я пожалел, что мне не удалось увидеть «Прометей», – когда автоматы открыли смотровое окно, он, наверное, был уже за пределами видимости.

Капсулу тряхнуло раз, другой, потом ее корпус начал вибрировать. Эта нестерпимая дрожь пробила все изолирующие оболочки, воздушные подушки и проникла в глубину моего тела. Зеленоватый контур указателя размазался. Я не ощущал страха. Не для того же я летел в такую даль, чтобы погибнуть у самой цели.

– Станция Солярис! – произнес я. – Станция Солярис, станция Солярис! Сделайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Станция Солярис, я Кельвин. Прием.

Я прозевал важный момент появления планеты. Она распростерлась, огромная, плоская; по размеру полос на ее поверхности я определил, что нахожусь еще далеко. А точнее, высоко, потому что миновал уже ту невидимую границу, после которой расстояние до небесного тела становится высотой. Я падал и чувствовал это теперь, даже закрыв глаза.

Подождав несколько секунд, я повторил вызов. И снова не получил ответа. В наушниках залпами повторялся треск атмосферных разрядов. Их сопровождал шум, глубокий и низкий. Казалось, это был голос самой планеты. Оранжевое небо в смотровом окне затянуло пеленой. Стекло потемнело. Я инстинктивно сжался, насколько позволили пневматические бандажи, но в следующую секунду понял, что это тучи. Они лавиной неслись вверх. Я

продолжал планировать. Меня то ослепляло солнце, то накрывала тень. Капсула вращалась вокруг вертикальной оси, и огромный, как будто распухший солнечный диск равномерно проплывал мимо моего лица, появляясь с левой и уходя в правую сторону. Внезапно сквозь шум и треск прямо в ухо мне ворвался далекий голос:

– Станция Солярис – Кельвину, станция Солярис – Кельвину! Все в порядке. Вы под контролем станции. Станция Солярис – Кельвину. Приготовиться к посадке в момент ноль. Внимание, начинаю. Двести пятьдесят, двести сорок девять, двести сорок восемь...

Слова падали, как горошины, четко отделяясь друг от друга; похоже, что говорил автомат. Странно. Обычно, когда прибывает кто-нибудь новый, да еще прямо с Земли, все, кто может, бегут на посадочную площадку.

Однако времени для размышлений не было. Огромное кольцо, очерченное вокруг меня солнцем, вдруг встало на дыбы вместе с равниной, летящей мне навстречу. Потом капсула накренилась в другую сторону. Я болтался, как груз огромного маятника. На встающей стеной поверхности планеты, иссеченной грязно-лиловыми бурными полосами, я увидел, борясь с головокружением, бело-зеленые шахматные квадратики – опознавательный знак станции. Тут же от верха капсулы с треском оторвался длинный ошейник кольцевого парашюта и громко зашелестел. В этом звуке было что-то невыразимо земное – первый после стольких месяцев шум настоящего ветра.

Дальнейшее происходило очень быстро. До сих пор я только знал, что падаю. Теперь я это увидел. Бело-зеленое шахматное поле стремительно росло. Уже было видно, что оно нарисовано на удлинённом китообразном серебристо-блестящем корпусе с выступающими по бокам иглами радарных антенн и с рядами темных оконных проемов, что этот металлический гигант не лежит на поверхности планеты, а висит над ней, волоча по чернильно-черному фону свою тень – эллиптическое пятно еще более глубокой черноты. Одновременно я заметил подернутые фиолетовой дымкой, лениво перекатывающиеся волны океана. Затем тучи ушли высоко вверх, охваченные по краям ослепительным пурпуром, небо между ними было далекое и плоское, буро-оранжевое. В смотровом окне заискрился ртутным блеском волнующийся до самого дымного горизонта океан, тросы и кольца парашюта мгновенно отделились и полетели над волнами, уносимые ветром, а капсула начала мягко раскачиваться особыми свободными движениями, как это обычно бывает в искусственном силовом поле, и рухнула вниз. Последнее, что я увидел, были огромные решетчатые катапульты и два возносящихся, наверное, на высоту нескольких этажей ажурных зеркала радиотелескопов.

Что-то остановило капсулу, раздался пронзительный скрежет стали, упруго ударившейся о сталь, что-то открылось подо мной, и с протяжным пыхтящим вздохом металлическая скорлупа, в которой я торчал выпрямившись, закончила свое стовосьмидесятикилометровое путешествие.

– Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка окончена. Конец, – услышал я мертвый голос контрольного автомата.

Обеими руками (я чувствовал неопределенное давление на грудь, а внутренности ощущались как неприятный груз) я взялся за рукоятки и выключил контакты. Появилась зеленая надпись – «Земля», стенки капсулы разошлись, пневматическое ложе легонько подтолкнуло меня в спину, и, чтобы не упасть, я вынужден был сделать шаг вперед.

С тихим шипением, похожим на разочарованный вздох, воздух покинул оболочку скафандра. Я был свободен.

Я стоял на дне огромной серебристой воронки. По стенам спускались пучки цветных труб и исчезали в круглых колодцах. Вентиляционные шахты урчали, втягивая остатки ядовитой атмосферы планеты, которая вторглась сюда во время посадки. Пустая, как лопнувший кокон, сигара капсулы стояла на дне врезанной в стальной холм чаши. Ее наружная обшивка обгорела и стала грязновато-коричневой. Я сделал несколько шагов по отлогому

спуску. Дальше металл был покрыт слоем шероховатого пластика. В тех местах, где обычно проходили тележки подъемников ракет, пластик вытерся и сквозь него проступала голая сталь.

Компрессоры вентиляторов умолкли, стало совсем тихо. Я осмотрелся немного беспомощно, ожидая появления какого-нибудь человека, но никто не появлялся. Только неоновая стрелка показывала на бесшумно движущийся ленточный транспортер. Я встал на него.

Свод зала изящной параболой падал вниз, переходя в трубу коридора. В его нишах громоздились груды баллонов для сжатых газов, контейнеров, кольцевых парашютов, ящиков – все было свалено в беспорядке, как попало. Это меня удивило. Транспортер кончился у округлого расширения коридора. Здесь господствовал еще больший беспорядок. Из-под груды жестяных банок растекалась лужа маслянистой жидкости. Неприятный резкий запах наполнял воздух. В разные стороны шли следы ботинок, четко отпечатавшиеся в этой жидкости. Между жестянками, как бы выметенные из комнат, валялись витки белой телеграфной ленты, обрывки бумаги и мусор. И снова загорелся зеленый указатель, направляя меня к средней двери. За ней был коридор, такой узкий, что в нем вряд ли смогли бы разойтись два человека. Свет падал из выходящих в небо окон с чечевицеобразными стеклами. Еще одна дверь, покрашенная в белые и зеленые квадратики. Она была приоткрыта. Я вошел внутрь.

В полукруглой комнате было одно большое панорамное окно. В нем горело затянутое дымкой небо. Внизу безмолвно перекачивались бурые холмы волн. В стенах виднелось много открытых шкафчиков. Их наполняли инструменты, книги, склянки с засохшим осадком, запыленные термосы. На грязном полу стояло пять или шесть механических подвижных столиков, между ними несколько сплюснутых надувных кресел, из них был выпущен воздух. Только одно было надуто. В нем сидел маленький изнуренный человек с лицом, обожженным солнцем. Кожа ключьями слезала у него с носа и щек. Я понял, кто это: Снаут, заместитель Гибаряна, кибернетик. В свое время он напечатал несколько совершенно оригинальных статей в соляристическом альманахе. Раньше мы не встречались. На нем была рубашка-сетка, сквозь ячейки которой торчали седые волоски, росшие на плоской груди, и когда-то белые, запачканные на коленях и сожженные реактивами полотняные штаны с многочисленными карманами. В руке он держал пластмассовую грушу, из каких пьют на космических кораблях, лишенных искусственной гравитации. Он смотрел на меня, словно парализованный ослепительным светом. Груша выпала из его ослабевших пальцев и запрыгала по полу, как мячик. Из нее вылилось немного прозрачной жидкости. Постепенно вся кровь отхлынула от его лица. Я был слишком поражен, чтобы что-нибудь сказать, и эта немая сцена продолжалась до тех пор, пока мне каким-то непонятным образом не передался его страх.

Я сделал шаг. Он скорчился в кресле.

– Снаут, – прошептал я.

Он вздрогнул, как будто его ударили. Глядя на меня с неописуемым отвращением, Снаут прохрипел в ответ:

– Не знаю тебя, не знаю тебя, чего ты хочешь?..

Разлитая жидкость быстро испарялась. Я почувствовал запах алкоголя. Он пил? Был пьян? Но почему он так боялся?

Я все стоял посреди кабины. Ноги у меня обмякли, а уши были как будто заткнуты ватой. Пол под ногами я воспринимал как что-то не совсем надежное. За выгнутым стеклом окна мерно колыхался океан.

Снаут не спускал с меня налитых кровью глаз. Страх уходил с его лица, но невыразимое отвращение не исчезало.

– Что с тобой?.. – спросил я его вполголоса. – Ты болен?

– Заботишься... – сказал он тихо. – Ага. Будешь заботиться, да? Но почему обо мне? Я тебя не знаю.

– Где Гибарян? – спросил я.

На секунду у Снаута перехватило дыхание. Его глаза снова стали стеклянными. В них вспыхнула какая-то искра и тотчас угасла.

– Ги... гиба... – пролепетал он. – Нет!!! – Он затрясся в беззвучном идиотском смехе и затих. – Ты пришел к Гибаряну? – Это было сказано почти спокойно. – К Гибаряну? Что ты хочешь с ним сделать?

Он смотрел на меня так, как будто я перестал быть для него опасным. В его словах, а еще больше в тоне было что-то ненавидяще-оскорбительное.

– Что ты говоришь?.. – пробормотал я, ошарашенный. – Где он?

Он остолбенел:

– Ты не знаешь?..

«Он пьян, – подумал я, – ясно как день, пьян». Меня охватил растущий гнев. Мне, конечно, нужно было уйти, но мое терпение лопнуло.

– Приди в себя! – прикрикнул я. – Откуда я могу это знать, если только что прилетел! Что с тобой, Снаут?!

У него отвалилась челюсть. Он снова на мгновение задохнулся. Быстрый блеск появился в его глазах. Трясущимися руками он вцепился в ручки кресла и с трудом, так что затрещали суставы, встал.

– Что? – сказал он, трезвея на глазах. – Прилетел? Откуда прилетел?

– С Земли, – ответил я зло. – Может, ты слышал о ней? Похоже, что нет!

– С Зе... Великое небо!.. Так ты – Кельвин?

– Да. Что ты так смотришь? Что в этом удивительного?

– Ничего, – ответил он, быстро моргая глазами. – Ничего. – Он потер лоб. – Извини меня, Кельвин. Это так, знаешь, просто от внезапности. Не ожидал...

– Как это не ожидал? Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад, а Моддард радировал еще раз сегодня, с борта «Прометей»...

– Да. Да... Конечно. Только, видишь ли, здесь у нас некоторый... беспорядок...

– Вижу, – сказал я сухо. – Трудно этого не видеть.

Снаут обошел вокруг меня, осматривая мой скафандр, самый обычный скафандр с упряжью проводов и кабелей на груди. Несколько раз откашлялся. Потрогал свой костистый нос.

– Может, хочешь принять ванну?.. Это тебя освежит. Голубые двери на противоположной стороне.

– Спасибо. Я знаю планировку станции.

– Может, ты голоден?..

– Нет. Где Гибарян?

Он подошел к окну, будто не слышал моего вопроса. Со спины он выглядел значительно старше. Коротко остриженные волосы были седыми, шея, сожженная солнцем, иссечена морщинами, глубокими, как шрамы. За окном поблескивали огромные хребты волн, поднимающихся и опадающих так медленно, как будто океан застывал. Если смотреть туда, создавалось впечатление, что станция движется немного боком, как бы соскальзывая с невидимого основания. Потом она возвращалась в нормальное положение и снова, лениво наклоняясь, ползла в другую сторону. Но это, очевидно, был обман зрения. Хлопья слизистой пены цвета крови собирались в провалах между волнами. Через мгновение я почувствовал тошноту.

– Слушай... – неожиданно начал Снаут. – Пока только я... – Он обернулся. Нервно потер руки. – Тебе придется довольствоваться моим обществом. Пока. Называй меня Хорек. Я тебе знаком только по фото, но это не важно, меня все так называют. Боюсь, что тут ничего не поделаешь.

– Где Гибарян? – упрямо спросил я опять.

Он заморгал.

– Мне очень жаль, что я тебя так принял. Это... не только моя вина. Совсем забыл, тут столько произошло, знаешь...

– Да брось, все в порядке, – ответил я. – Оставь это. Так что же все-таки с Гибаряном? Его нет на станции? Он куда-нибудь улетел?

– Нет, – ответил Снаут, глядя в угол, заставленный катушками кабеля. – Он никуда не улетел. И не улетит. Потому что он...

– Что? – спросил я. У меня снова как будто заложило уши, и я стал хуже слышать. – Что ты хочешь сказать? Где он?

– Ты уже знаешь, – сказал Снаут совершенно другим тоном.

Он холодно смотрел мне в глаза. По коже у меня побежали мурашки. Может быть, Снаут и был пьян, но он знал, что говорит.

– Но ведь не произошло же?..

– Произошло.

– Несчастный случай?

Он кивнул. Он не только поддакивал, но одновременно изучал мою реакцию.

– Когда?

– Сегодня утром.

Удивительное дело, я не ощутил потрясения. Весь этот обмен односложными вопросами и ответами успокоил меня, пожалуй, своей деловитостью. Мне казалось, что я уже понимаю поведение Снаута.

– Как это было?

– Устраивайся, разбери вещи и возвращайся сюда... Ну, скажем, через час...

Мгновение я колебался.

– Хорошо.

– Обожди, – сказал Снаут, когда я повернулся к дверям. Он смотрел на меня как-то по-особенному. Видно было, что он никак не может выдать из себя то, что хочет сказать.

– Нас было трое, и теперь с тобой – снова трое. Ты знаешь Сарториуса?

– Так же, как тебя. По фотографии.

– Он в лаборатории, наверху, и не думаю, чтобы он вышел оттуда до ночи, но... во всяком случае, ты его узнаешь. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, то...

– То что?

Мне казалось, что все это происходит во сне. На фоне черных волн, кроваво поблескивающих под низким солнцем, он сидел в кресле с опущенной головой и смотрел в угол на катушку смотанного кабеля.

– То... Не делай ничего.

– Кого я могу увидеть? Привидение? – взорвался я.

– Понимаю. Думаешь, я сошел с ума. Еще нет. Не могу тебе сказать по-другому, пока... В конце концов, может, ничего и не случится. Во всяком случае, помни. Я тебя предостерегаю.

– От чего? О чем ты говоришь?

– Владей собой. – Он упрямо твердил свое. – Поступай так, как будто... Будь готов ко всему. Это невозможно, я понимаю. Но ты попробуй. Это единственный выход. Другого я не знаю.

– Но что я увижу?! – Я, наверное, крикнул это. Мне хотелось схватить Снаута за плечи и встряхнуть его как следует, чтобы он не сидел вот так, уставившись в угол, с несчастным,

обожженным солнцем лицом, мучительно выдавливая из себя по одному слову. Я едва сдержался.

– Не знаю. В некотором смысле это зависит от тебя.

– Галлюцинации?

– Нет. Это реально. Не... нападай. Помни.

– Что ты говоришь?! – Я не узнавал своего голоса.

– Мы не на Земле.

– Политерия. Но ведь это совершенно не похоже на людей! – Я не знал, как вырвать его из этого состояния отрешенности; он по-прежнему глядел куда-то в пустоту и, казалось, в ней вычитывал бессмыслицу, леденящую кровь.

– Именно оттого это так страшно, – сказал он тихо. – Помни: будь начеку!

– Что случилось с Гибаряном?

Он не отвечал.

– Что делает Сарториус?

– Приходи через час.

Я отвернулся и вышел. Отворяя двери, взглянул на Снаута еще раз. Он сидел, согнувшись, закрыв лицо руками. Только теперь я увидел, что костяшки пальцев у него покрыты засохшей кровью.

Соляристы

Коридор был пуст. Мгновение я постоял перед закрытой дверью, прислушиваясь. Стены, наверно, были тонкими, снаружи сквозь них проникал плач ветра. На двери, немного наискось, висел небрежно прикрепленный прямоугольный кусок пластыря с карандашной надписью «Человек». Неразборчиво нацарапанное слово вызвало у меня желание вернуться к Снауту, но я понял, что это невозможно.

Нелепое предостережение все еще звучало в ушах. Тихо, как будто бессознательно скрываясь от невидимого наблюдателя, я вернулся в круглую камеру с пятью дверьми. На трех из них висели таблички: «Д-р Гибарян», «Д-р Снаут», «Д-р Сарториус». На четвертой таблички не было. Поколебавшись, я нажал ручку. Пока дверь медленно открывалась, у меня появилось граничащее с уверенностью ощущение, что в комнате кто-то есть. Я вошел внутрь.

В комнате никого не было. Выпуклое окно глядело на океан, который жирно блестел под солнцем, как будто с волн стекало красное масло. Пурпурный отблеск заливал комнату, похожую на корабельную каюту. С одной стороны ее находились полки с книгами и прикрепленная вертикально к стене кровать в карданной подвеске. С другой было очень много шкафчиков. Между ними в никелированных рамках висели фотоснимки планеты. В металлических захватах торчали колбы и пробирки, заткнутые ватой. Под окном в два ряда громоздились белые эмалированные ящики с инструментами. В углах комнаты – краны, вытяжной шкаф, холодильные установки, на полу стоял микроскоп, для него уже не было места на большом столе у окна.

Я обернулся и около входной двери увидел шкаф с открытыми дверцами до самого потолка. В нем висели комбинезоны, рабочие и защитные халаты, на полках – белье, между голенищами противорадиационных сапог поблескивали алюминиевые баллоны для переносных кислородных аппаратов. Два аппарата с масками болтались на поручне поднятой кровати. Везде был тот же кое-как упорядоченный хаос.

Я втянул воздух и почувствовал слабый запах химических реактивов. Машинально искал глазами вентиляционные решетки. Прикрепленные к ним полоски бумаги легонько колебались, показывая, что компрессоры работают, поддерживая нормальный обмен воздуха. Я перенес книги, аппараты и инструменты с двух кресел в углы, распахнул все это как попало, и вокруг постели, между шкафом и полками, образовалось относительно пустое пространство. Потом подтянул вешалку, чтобы повесить на нее скафандр, и уже взялся за замки-молнии, но тут же их отпустил. Я никак не мог решиться снять скафандр, как будто от этого стал бы незащищенным. Еще раз я окинул взглядом комнату. Дверь была плотно закрыта, но замка в ней не было, и после недолгого колебания я припер ее двумя самыми тяжелыми ящиками.

Забаррикадировавшись так, я освободился от своей скрипящей оболочки. Узкое зеркало на внутренней поверхности шкафа отражало часть комнаты. Углом глаза я заметил какое-то движение, вскочил, но тут же понял, что это мое собственное отражение. Комбинезон под скафандром пропотел. Я сбросил его и толкнул шкаф. Он отъехал в сторону, и в нише за ним заблестели стены миниатюрной ванной комнаты. На полу, под душем, лежал довольно большой плоский ящик, который я с трудом втащил в комнату. Когда я опускал его на пол, крышка отскочила как на пружине, и я увидел отделения, набитые странными предметами. Ящик был полон страшно изуродованных инструментов из темного металла, немного похожих на те, которые лежали в шкафах. Все они никуда не годились, бесформенные, скрученные, оплавленные, словно вынесенные из пожара. Самым удивительным было то, что повреждения такого же характера были даже на керамитовых, то есть практически

не плавящихся, рукоятках. Ни в одной лабораторной печи нельзя было получить температуру, при которой они бы плавились, разве что внутри атомного котла. Из кармана моего скафандра я достал портативный дозиметр, но черный цилиндрок молчал, когда я поднес его к обломкам.

На мне были только трусы и рубашка-сетка. Я скинул их на пол и пошел под душ. Вода принесла облегчение. Я изгибался под потоком твердых горячих струй, массировал тело, фыркая и делал все это как-то преувеличенно, как будто хотел вытравить из себя эту жуткую, внушающую подозрения неуверенность, охватившую станцию.

В шкафу я нашел легкий тренировочный костюм, который можно было носить под скафандром, переложил в карман все свое скромное имущество. Между листами блокнота я нащупал что-то твердое – это был каким-то чудом попавший сюда ключ от моего земного жилья. Я повертел его в руках, не зная, что с ним делать, потом положил на стол. Мне пришло в голову, что неплохо бы иметь какое-нибудь оружие. Универсальный перочинный нож тут явно не годился, но ничего другого у меня не было, а я еще не дошел до такого состояния, чтобы искать ядерный излучатель или что-нибудь в этом роде. Я уселся на металлический стульчик, который стоял посредине пустого пространства, в отдалении от всех вещей. Мне хотелось побыть одному. С удовольствием я отметил, что у меня есть еще полчаса времени. Стрелки на двадцатичетырехчасовом циферблате показывали семь. Солнце заходило. Семь часов местного времени – значит, двадцать часов на борту «Прометей». На экранах Моддарда Солярис, наверно, уже уменьшился до размеров искорки и ничем не отличался от звезд. Но какое я имею отношение к «Прометею»? Я закрыл глаза. Стояла полная тишина, только в ванной капли воды глухо стучали по кафелю.

Гибарян мертв. Если я правильно понял Снаута, с момента его смерти прошло всего несколько часов.

Что сделали с его телом? Похоронили? Правда, здесь, на Солярисе, этого сделать нельзя. Некоторое время я обдумывал это, будто судьба мертвого была так уж важна. Поняв бессмысленность подобных размышлений, я встал и начал ходить по комнате, поддавая носком беспорядочно разбросанные книги. Потом поднял с пола фляжку из темного стекла, такую легкую, будто она была сделана из бумаги. Посмотрел сквозь нее в окно, в мрачно пламенеющие, затянутые грозным туманом последние лучи заката. Что со мной? Почему я занимаюсь какими-то глупостями, какой-то ненужной ерундой?

Я вздрогнул – зажегся свет. Очевидно, фотоэлементы среагировали на наступающие сумерки. Я был полон ожидания, напряжение нарастало до такой степени, что мне уже действовало на нервы пустое пространство за спиной. С этим пора было кончать.

Я придвинул кресло к полкам, взял хорошо известный мне второй том старой монографии Хьюджеса и Эгла «История Соляриса» и начал его перелистывать, подперев толстый жесткий переплет коленом.

Солярис был открыт почти за сто лет до того, как я родился. Планета обращается вокруг двух солнц – красного и голубого. В течение сорока с лишним лет к ней не приближался ни один космический корабль. В то время теория Гамова – Шепли о невозможности зарождения жизни на планетах двойных звезд не вызывала сомнений. Орбиты таких планет непрерывно изменяются из-за непостоянства сил притяжения, вызванного взаимным обращением двух солнц.

Возникающие изменения гравитационного поля сокращают или растягивают орбиту планеты, и зародыши жизни, если они возникнут, будут уничтожены испепеляющим жаром или космическим холодом. Эти изменения происходят регулярно через каждые несколько миллионов лет, то есть в астрономическом или биологическом масштабе за очень короткий промежуток времени, так как эволюция требует сотен миллионов, если не миллиардов лет.

Солярис, по предварительным подсчетам, должен был за пятьсот тысяч лет приблизиться на расстояние половины астрономической единицы к своему красному солнцу, а еще через миллион лет упасть в его раскаленную бездну. Но уже через несколько лет выяснилось, что орбита планеты не подвергается ожидаемым изменениям, вроде бы она постоянная, такая же постоянная, как орбиты планет нашей Солнечной системы.

Повторенные – на этот раз с максимальной точностью – наблюдения и вычисления лишь подтвердили то, что уже было известно: орбита Соляриса нестабильна. И если до этого Солярис был всего-навсего одной из нескольких сотен ежегодно открываемых планет, которым в статистических сборниках уделяют десяток строчек, где описываются элементы их движения, то теперь он немедленно перешел в ранг небесного тела, достойного самого пристального внимания.

Через четыре года после этого открытия планету облетела экспедиция Оттеншельда, который изучал Солярис с «Лаокоона» и двух вспомогательных космолетов. Эта экспедиция носила характер предварительной разведки, тем более что высадиться на планету она не могла. Ученые запустили на экваториальные и полярные орбиты большое количество автоматических спутников-наблюдателей. Спутники должны были главным образом измерять гравитационные потенциалы. Кроме того, изучался океан, почти целиком покрывающий планету, и немногочисленные возвышающиеся над его поверхностью плоскогорья. Их общая площадь оказалась меньше, чем территория Европы, хотя Солярис имел диаметр на двадцать процентов больше земного. Эти лоскутки скалистой пустынной суши, разбросанные как попало, скопились главным образом в Южном полушарии. Был также определен состав атмосферы, лишенной кислорода, и произведены чрезвычайно точные измерения плотности планеты, альбедо и других астрономических показателей. Как и ожидалось, ни на жалких клочках суши, ни в океане не удалось обнаружить никаких следов жизни.

В течение дальнейших десяти лет Солярис, теперь уже находящийся в центре внимания всех наблюдателей этого района, демонстрировал поразительную тенденцию к сохранению своей, вне всякого сомнения, гравитационно-нестабильной орбиты. Запахло было скандалом, так как вину за такие результаты наблюдений пытались возложить (заботясь о благе науки) то на определенных людей, то на вычислительные машины, которыми они пользовались.

Отсутствие средств задержало отправку специальной соляристической экспедиции еще на три года, вплоть до того момента, когда Шеннон, укомплектовавший команду, получил от института три космических корабля тоннажа «С» космодромного класса. За полтора года до прибытия экспедиции, которая вылетела с альфы Водолея, другая исследовательская группа по поручению института вывела на околосоляристическую орбиту автоматический сателлоид – Луну-247. Этот сателлоид после трех последовательных реконструкций, отделенных друг от друга десятками лет, работает до сегодняшнего дня. Данные, которые он собрал, окончательно подтвердили выводы экспедиции Оттеншельда об активном характере движения океана.

Один корабль Шеннона остался на дальней орбите, два других после предварительных приготовлений сели у Южного полюса планеты на скалистом клочке суши, который занимает около тысячи квадратных километров. Работа экспедиции закончилась через восемнадцать месяцев и прошла очень успешно, за исключением одного несчастного случая, вызванного неисправностью аппаратуры. Однако ученые экспедиции раскололись на два враждующих лагеря. Предметом спора стал океан. На основании анализов он был признан органическим образованием (назвать его живым никто еще не решался). Но если биологи видели в нем организм весьма примитивный, что-то вроде одной чудовищно разросшейся жидкой клетки (они называли ее «добиологическая формация»), которая окружила всю планету студенистой оболочкой, местами глубиной в несколько километров, то астрономы и

физики утверждали, что это должна быть чрезвычайно высокоорганизованная структура, сложностью своего строения превосходящая земные организмы, коль скоро она в состоянии активно влиять на форму планетной орбиты. Никакой иной причины, объясняющей стабилизацию Соляриса, открыто не было. Кроме того, планетофизики установили связь между определенными процессами, происходящими в плазменном океане, и локальными колебаниями гравитационного потенциала, которые зависели от океанического «обмена веществ».

Таким образом, физики, а не биологи выдвинули парадоксальную формулировку «плазматическая машина», имея в виду образование, в нашем понимании, возможно, и неодушевленное, но способное к целенаправленным действиям в астрономическом масштабе.

В этом споре, который за несколько недель втянул в свою орбиту все выдающиеся авторитеты, доктрина Гамова – Шепли пошатнулась впервые за восемьдесят лет.

Некоторое время ее еще пытались защищать, утверждая, что океан ничего общего с жизнью не имеет, что он является даже не образованием пара – или добиологическим, а всего лишь геологической формацией, по всей вероятности необычной, но способной лишь к стабилизации орбиты Соляриса посредством изменения силы тяжести; при этом ссылались на закон Ле Шателье.

Наперекор консервативным утверждениям появлялись другие гипотезы (например, одна из наиболее разработанных – гипотеза Чивита – Витты). Согласно этим гипотезам, океан является результатом диалектического развития; от своего первоначального состояния, от праокеана – раствора слабо реагирующих химических веществ, – он сумел под влиянием внешних условий (то есть изменений орбиты, угрожающих его существованию), минуя все земные ступени развития, минуя образование одно- и многоклеточных организмов, эволюцию растений и животных, сделать резкий скачок и оказаться на стадии «гомеостатического океана». Иначе говоря, он не приспособлялся, как земные организмы, в течение сотен миллионов лет к условиям среды, чтобы только через такое длительное время дать начало разумной расе, но сразу же стал хозяином среды.

Это было весьма оригинально, хотя никто по-прежнему не знал, как студенистый сироп может стабилизировать орбиту небесного тела. Уже давно были известны гравиторы – установки, создающие искусственные силовые и гравитационные поля. Но никто не представлял себе, каким образом аморфное желе может добиться результата, который в гравиторах достигался с помощью сложных ядерных реакций и гигантских температур. В газетах, которые, к удовольствию читателей и к негодованию ученых, распространяли нелепейшие вымыслы на тему «тайны Соляриса», например, писали, что всепланетный океан является... дальним родственником земных электрических угрей.

Когда эту загадку удалось в какой-то мере разгадать, оказалось, как это потом не раз бывало с Солярисом, что ее заменила другая, возможно, еще более удивительная.

Как показали исследования, океан действовал совсем не по тому принципу, который использовался в наших гравиторах (впрочем, это было бы невозможно). Он непосредственно моделировал метрику пространства-времени, что приводило, скажем, к отклонениям при измерении времени на одном и том же меридиане планеты. Следовательно, океан не только представлял себе, но и мог (чего нельзя сказать о нас) использовать выводы теории Эйнштейна – Бевеи.

Когда это стало известно, в научном мире разыгралась одна из сильнейших бурь нашего столетия. Самые почтенные, повсеместно признанные непоколебимыми теории обратились в прах, в научной литературе появлялись совершенно еретические статьи, альтернатива же «гениальный океан» или «гравитационное желе» распалила умы.

Все это происходило за много лет до моего рождения. Когда я ходил в школу, Солярис в связи с установленными позднее фактами был признан планетой, которая наделена жизнью, но имеет только одного жителя.

Второй том Хьюджеса и Эгла, который я перелистывал совершенно машинально, начинался с систематики, столь же оригинальной, сколь и забавной. Классификационная таблица представляла в порядке очереди: тип – Политерия, класс – Метаморфа, отряд – Синциталия. Будто мы знали Бог весть сколько экземпляров этого вида, тогда как на самом деле существовал лишь один, правда, весом в семнадцать биллионов тонн.

Под пальцами у меня шелестели цветные диаграммы, графики, анализы, спектрограммы. Чем дальше углублялся я в потрепанный фолиант, тем больше математических формул мелькало на мелованных страницах. Можно было подумать, что наши сведения об этом представителе класса Метаморфа, который лежал, скрытый темнотой ночи, в нескольких метрах под стальным днищем станции, являются исчерпывающими.

Я с шумом поставил увесистый том на полку и взял следующий. Он делился на две части. Первая была посвящена изложению протоколов бесчисленных экспериментов, целью которых было установление контакта с океаном. Это установление контакта служило источником бесконечных анекдотов, насмешек и острот в мои студенческие годы. Средневековая схоластика казалась прозрачной, сверкающей истиной по сравнению с теми джунглями, которые породила эта проблема.

Первые попытки установления контакта были предприняты при помощи специальных электронных аппаратов, трансформирующих импульсы, посылаемые в обе стороны, причем океан принимал активное участие в конструировании этих аппаратов. Но все делалось в полной темноте. Что значит – принимал участие? Океан модифицировал некоторые элементы погруженных в него установок, в результате чего записанные ритмы импульсов изменялись, регистрирующие приборы фиксировали множество сигналов, похожих на обрывки гигантских выкладок высшего анализа. Но что все это значило? Может, это были сведения о мгновенном состоянии возбуждения океана? Может быть, переложенные на неведомый электронный язык, выражения его вечных истин? Или произведения искусства? Или же импульсы, вызывающие появление его гигантских образований где-нибудь в тысяче миль от исследователя? Кто мог знать это, коль скоро не удалось дважды получить одинаковую реакцию на одинаковые сигналы? Если один раз ответом был целый взрыв импульсов, чуть не уничтоживший аппараты, а другой – глухое молчание? Если ни одно исследование невозможно было повторить?

Все время казалось, что от расшифровки непрерывно увеличивавшегося моря записей нас отделяет только один шаг; специально для этого строились электронные мозги с такой способностью перерабатывать информацию, какой не требовала до сих пор ни одна проблема. Действительно, были достигнуты определенные результаты. Океан – источник электрических, магнитных, гравитационных импульсов – говорил как бы языком математики; некоторые группы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, теории множеств; удалось выделить гомологи структур, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи, конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Все это склоняло ученых к выводу, что перед ними – мыслящее чудовище, что-то вроде гигантски разросшегося, покрывшего целую планету протоплазменного моря-мозга, которое тратит время на необыкновенные по своему размаху теоретические исследования сути всего существующего, а то, что выхватывают наши аппараты, составляет лишь разрозненные, случайно подслушанные обрывки этого продолжающегося вечно в глубинах океана, перерастающего всякие границы нашего понимания гигантского монолога.

Одни расценивали такие гипотезы как выражение пренебрежения к человеческим возможностям, как преклонение перед чем-то, чего мы еще не понимаем, но что можно понять, как воскрешение старой доктрины *ignoramus et ignorabimus*¹. Другие считали, что это вредные и бесплодные небылицы, что в гипотезах математиков проявляется мифология нашего времени, видящая в гигантском мозге – безразлично, электронном или плазматическом – наивысшую цель существования – итог бытия. Третьи же... Но исследователей и теорий были легионы. Впрочем, кроме «установления контакта», существовали и другие проблемы... Были отрасли соляристики, в которых специализация зашла так далеко, особенно на протяжении последней четверти столетия, что солярист-кибернетик почти не мог понять соляриста-симметриадолога. «Как можете вы понять океан, если не в состоянии понять друг друга?» – однажды шутливо спросил Вейбек, который в мои студенческие годы руководил институтом. В этой шутке было много правды.

Все же океан не случайно отнесли к классу Метаморфа. Его волнистая поверхность могла давать начало самым различным, ни на что земное не похожим формам, причем цель – приспособительная, познавательная или какая-либо иная – этих иногда весьма бурных взрывов плазматического «творчества» оставалась полнейшей загадкой.

Поставив тяжелый том на место, я подумал, что наши сведения о Солярисе, наполняющие библиотеки, являются бесполезным балластом и кладбищем фактов и что мы топчемся на том же самом месте, где начали их нагромождать семьдесят восемь лет назад. Точнее, ситуация была гораздо хуже, ибо труд всех этих лет оказался напрасным.

То, что мы знали наверняка, относилось только к области отрицания. Океан не пользовался механизмами и не строил их, хотя в определенных обстоятельствах, возможно, был способен к этому. Так, он размножал части некоторых погруженных в него аппаратов, но делал это только в первый и второй годы исследовательских работ, а затем игнорировал все наши настойчиво возобновляемые попытки, как будто утратил всякий интерес к нашим аппаратам и устройствам (а следовательно, и к нам самим). Океан не обладал – я продолжаю перечисление наших «негативных сведений» – никакой нервной системой, ни клетками, ни структурами, напоминающими белок; не всегда реагировал на раздражения, даже наимоощнейшие (так, например, он полностью игнорировал катастрофу, в которой погибла вспомогательная ракета второй экспедиции Гезе, рухнув с высоты трехсот километров на поверхность планеты и уничтожив взрывом своих атомных двигателей плазму в радиусе двух километров).

Постепенно в научных кругах «операция Солярис» начала восприниматься как синоним «операции проигранной», особенно среди научной администрации института, где в последние годы все чаще раздавались голоса, требующие прекращения дотаций на дальнейшие исследования. О полной ликвидации станции никто до сих пор говорить не осмеливался – это было бы слишком явным признанием поражения. Впрочем, некоторые в частных беседах говорили, что нам нужно только одно – наиболее «почетным» образом устраниться от «аферы Солярис».

Однако для многих, особенно для молодых, «афера» эта постепенно становилась чем-то вроде пробного камня собственной ценности. «В сущности, – говорили они, – речь идет о ставке гораздо большей, чем изучение соляристической цивилизации, речь идет о нас самих, о границах человеческого познания».

В течение некоторого времени было популярно мнение (усердно распространяемое газетами), что мыслящий океан, который омывает весь Солярис, является гигантским мозгом, обогнавшим нашу цивилизацию в своем развитии на миллионы лет, что это какой-то

¹ Не знаем и не узнаем (*лат.*).

«космический йог», мудрец, олицетворение всеведения, который уже давно понял бесполезность всякой деятельности и поэтому категорически отказывается от общения с нами.

Это была явная неправда, потому что живой океан действовал, и еще как – только в соответствии с иными, чем людские, представлениями, не строя ни городов, ни мостов, ни летательных машин, не пробуя также победить пространство или перешагнуть его (в чем некоторые защитники превосходства человека усматривали бесценный для нас козырь), но занимаясь зато тысячекратными преобразованиями – «онтологической автометаморфозой», – чего-чего, а ученых терминов хватало на страницах соляристических трудов.

С другой стороны, у человека, упорно вчитывающегося во всевозможные солярианы, создавалось впечатление, что перед ним обломки интеллектуальных конструкций, возможно гениальных, перемешанные без всякой системы с плодами полного, граничащего с сумасшествием маразма. Отсюда как антитеза концепции об «океане-йоге» возникла мысль об «океане-дебиле».

Эти гипотезы подняли из гроба и оживили одну из старейших философских проблем – взаимоотношения материи и духа, сознания. Необходима была большая смелость, чтобы первому – как это сделал дю Хаарт – приписать океану сознание. Эта проблема, поспешно признанная метафизической, тлела на дне всех дискуссий и споров. Возможно ли мышление без сознания? Можно ли возникающие в океане процессы назвать мышлением? Гору – очень большим камнем? Планету – огромной горой? Можно пользоваться этими названиями, но новая величина выводит на сцену новые закономерности и новые явления.

Проблема Соляриса стала квадратурой круга нашего времени. Каждый самостоятельный мыслитель старался внести в сокровищницу соляристики вклад: множились теории, гласящие, что перед нами продукт дегенерации, регресса, который наступил после минувшей фазы «интеллектуального великолепия» океана, что океан в самом деле новообразование – глиома, которая, зародившись в телах древних обитателей планеты, уничтожила и поглотила их, сплавляя остатки в структуру вечно живущей, самоомолаживающейся сверхклеточной стихии.

В белом, похожем на земной, свете ламп я снял со стола аппараты и книги и разложил на пластмассовой крышке карту Соляриса. Живой океан имел свои отмели и глубочайшие впадины, а его острова были покрыты налетом выветрившихся пород, свидетельствующих о том, что когда-то они были дном океана. Возможно, океан регулировал появление и исчезновение скальных формаций, погруженных в его лоно. Опять полный туман. Я смотрел на огромные, окрашенные в разные оттенки фиолетового и голубого полушария на карте, испытывая, не знаю уж который раз в жизни, изумление, такое же потрясающее, как то, первое, которое я ощутил, когда еще мальчишкой впервые услышал в школе о существовании Соляриса.

Не знаю почему, но все, что меня окружало – тайна смерти Гибаряна, даже неведомое будущее, – все казалось сейчас незначительным, и я не думал об этом, погруженный в удивительную карту. Отдельные области живой планеты носили имена исследовавших их ученых. Я рассматривал омывающее экваториальные архипелаги море Тексалла, когда почувствовал чей-то взгляд.

Я, парализованный страхом, еще стоял над картой, но уже не видел ее. Дверь находилась прямо против меня; она была приперта ящиками и придвинутым к ним шкафчиком. «Это какой-нибудь автомат», – подумал я, хотя ни одного автомата перед этим в комнате не было и он не мог войти незаметно для меня. Кожа на шее и спине стала горячей, ощущение тяжелого, неподвижного взгляда было невыносимым. Не отдавая себе в этом отчета, инстинктивно втянув голову в плечи, я все сильнее опирался на стол, который начал медленно ползти по полу. От этого движения я пришел в себя и стремительно обернулся.

Позади никого не было. Только зияло чернотой большое полукруглое окно. Но странное ощущение не исчезало. Это темнота смотрела на меня, бесформенная, огромная, безглазая, не имеющая границ. Ее не освещала ни одна звезда. Я задернул шторы. Я не пробыл на станции и часа, но уже начинал понимать, почему у ее обитателей появилась мания преследования. Инстинктивно я связывал это со смертью Гибаряна. Я знал его и до сих пор считал, что ничто не может помутить его разум. Теперь эта уверенность исчезла.

Я стоял посреди комнаты у стола. Дыхание успокоилось, и я почувствовал, что у меня на лбу выступил пот. О чем это я сейчас думал? Ах да, об автоматах. Странно, что ни один из них не встретился мне ни в коридоре, ни в комнатах. Куда они все подевались? Единственный, с которым я столкнулся, да и то на расстоянии, принадлежал к системе обслуживания ракетодрома. А другие?..

Я посмотрел на часы. Пора идти к Снауту.

Коридор был освещен слабо. Я прошел две двери и остановился у той, на которой висело имя Гибаряна. Я нажал ручку. У меня не было намерения заходить туда, но ручка поддалась, дверь приоткрылась, щель мгновение была черной, потом в комнате вспыхнул яркий свет. Теперь меня мог увидеть каждый, кто шел по коридору. Я быстро юркнул в комнату, бесшумно, но с силой захлопнул за собой дверь и сразу же обернулся.

Я стоял, привалившись к двери. Комната была больше моей. Панорамное окно на три четверти закрывала, несомненно, привезенная с Земли, не относящаяся к снаряжению станции занавеска в мелкие голубые и розовые цветочки. Вдоль стен тянулись библиотечные полки и шкафчики, покрытые серебристо-зеленой эмалью. Содержимое их, беспорядочно вываленное на пол, громоздилось между креслами. Прямо передо мной, загораживая проход, валялись два столика, заваленные журналами, высыпавшимися из разорванных папок. Растерзанные книги были залиты жидкостями из разбитых колб и бутылок с такими толстыми стенками, что я не мог понять, каким образом они разбились, даже если упали на пол с большой высоты. Под окном лежал перевернутый стол с разбитой рабочей лампой на раздвижном кронштейне; рядом валялась табуретка, две ножки которой были всажены в наполовину выдвинутые ящики стола. Толстый слой карточек, исписанных листков и других бумаг покрывал пол. Я узнал почерк Гибаряна и наклонился. Поднимая листки, я увидел, что моя рука отбрасывает две тени.

Я обернулся. Розовая занавеска пылала, будто подожженная сверху, четкая полоса голубого огня стремительно расширялась. Я отдернул занавеску, и в глаза ударило пламя гигантского пожара, который занимал треть горизонта. Волны длинных густых теней стремительно неслись к станции. Это был рассвет. Станция находилась в зоне, где после ночи, длившейся час, всходило второе, голубое солнце планеты.

Автоматический выключатель погасил лампы, и я вернулся к разбросанным бумагам. Перебирая их, наткнулся на краткий план опыта, который должен был состояться три недели назад. Гибарян собирался подвергнуть плазму действию очень жесткого рентгеновского излучения. Прочитав все, я понял, что план предназначался для Сарториуса, который должен был провести эксперимент, — у меня в руках была копия.

Свет, отраженный от белых листов бумаги, начал резать глаза. Наступивший день был не таким, как прежний. Под оранжевым небом остывающего солнца чернильный океан с кровавыми отблесками почти всегда покрывала грязно-розовая мгла, которая объединяла в одно целое тучи и волны. Теперь все это исчезло. Даже профильтрованный розовой тканью занавески, восход пылал, как горелка мощной кварцевой лампы. Мои загорелые руки казались в его свете почти серыми. Вся комната изменилась, все, что имело красный оттенок, стало бронзовым и поблекло, все белые, зеленые, желтые предметы, наоборот, налились и, казалось, излучали собственный свет. Я закрыл глаза и на ощупь прошел в ванную. Там на полочке нашарил темные очки и только теперь, надев их, мог продолжить чтение.

Это были протоколы уже проведенных исследований. Из них я узнал, что океан четыре дня подвергался облучению в пункте, находящемся в двух тысячах километров к северо-востоку от теперешнего положения станции. А использование рентгеновского излучения запрещалось конвенцией ООН в связи с его вредным действием. И я был совершенно уверен, что никто не обращался на Землю с просьбой разрешить подобные эксперименты.

Становилось жарко. Комната, пылающая белым и голубым, выглядела неестественно. Но вот послышался скрежет, и снаружи на окно напозли герметические заслонки. Наступила темнота, затем зажегся электрический свет, показавшийся удивительно тусклым.

Однако жарко было по-прежнему. Пожалуй, жара даже усилилась, хотя холодильники станции, судя по гудению кондиционеров, работали на полную мощность.

Вдруг я услышал звук шагов. Кто-то шел по коридору. В два прыжка я оказался у двери. Шаги замедлились. Тот, кто шел, остановился у дверей. Ручка тихонько повернулась. Не раздумывая, инстинктивно я схватил ее и задержал. Нажим не усиливался, но и не ослабевал. Тот, с другой стороны, старался делать все так же бесшумно, как и я. Некоторое время мы оба держали ручку. Потом я почувствовал, что ее отпустили, и услышал легкий шелест – тот уходил. Я постоял еще, прислушиваясь, но было тихо.

Гости

Я поспешно сложил вчетверо и спрятал в карман записи Гибаряна. Осторожно подошел к шкафу и заглянул внутрь. Одежда была скомкана и втиснута в один угол, как будто в шкафу кто-то прятался. Из кучи бумаг, сваленных внизу, выглядывал уголок конверта. Я взял его. Письмо было адресовано мне. У меня вдруг пересохло горло.

С большим трудом я заставил себя разорвать конверт и достать из него маленький листок бумаги.

Своим четким и очень мелким почерком Гибарян написал:

«Ann. Solar. Vol. 1. Anex, также Vot. Separat². Мессенджера по делу Ф., «Малый Апокриф» Равинтцера».

И все. Ни одного слова больше. Записка носила следы спешки. Было ли это какое-нибудь важное сообщение? Когда он ее написал? Надо как можно скорее идти в библиотеку. Приложение к первому Соляристическому ежегоднику было мне известно, точнее, я знал о его существовании, но никогда не видел; оно представляло чисто исторический интерес. Однако ни о Равинтцере, ни о его «Малом Апокрифе» я никогда не слышал.

Что делать?

Я уже опаздывал на четверть часа. Подойдя к двери, еще раз оглядел комнату и только теперь заметил прикрепленную к стене складную кровать, которую заслоняла развернутая карта Соляриса. За картой что-то висело. Это был карманный магнитофон в футляре. Я вынул аппарат, футляр повесил на место, а магнитофон сунул в карман, предварительно взглянув на счетчик и убедившись, что лента использована почти до конца.

Еще секунду постоял у двери с закрытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину. Ни звука. Я осторожно отворил дверь. Коридор показался мне черной бездной. Я снял темные очки и увидел слабый свет потолочных ламп. Закрыв за собой дверь, пошел налево, к радиостанции.

Круглая камера, от которой, как спицы колеса, расходились во все стороны коридоры, была уже совсем близко, когда, минуя какой-то узкий боковой проход, ведущий, как мне показалось, к ванным, я увидел большую, неясную, почти сливающуюся с полумраком фигуру.

Я замер. Из глубины коридора не спеша, по-утиному покачиваясь, шла огромная негритянка. Я увидел блеск ее белков и почти одновременно услышал мягкое шлепанье босых ног. На ней не было ничего, кроме желтой, блестящей, как будто сплетенной из соломы, юбки. Она прошла мимо меня на расстоянии метра, даже не посмотрев в мою сторону, покачивая слоновьими бедрами, похожая на гигантские скульптуры каменного века, которые можно увидеть в антропологических музеях. Там, где коридор поворачивал, негритянка остановилась и открыла дверь комнаты Гибаряна. На мгновение она очутилась в полосе яркого света, падавшего из комнаты, потом дверь закрылась, и я остался один. Правой рукой я вцепился в кисть левой и стиснул ее так, что хрустнули кости; потом бессмысленно огляделся вокруг. Что случилось? Что это было? Внезапно, как будто меня ударили, я вспомнил предостережение Снаута. Что все это могло значить? Кто была эта черная Афродита? Откуда она взялась?

Я сделал шаг, один только шаг в сторону комнаты Гибаряна, и остановился. Я слишком хорошо знал, что не войду туда.

Не знаю, долго ли я простоял так, опершись о холодный металл стены. Станцию наполнила тишина, лишь монотонно шумели компрессоры кондиционеров.

² Соляристический ежегодник. Т. 1. Приложение, также Особое мнение... (лат.)

Я похлопал себя по щеке и медленно пошел на радиостанцию. Взявшись за ручку двери, услышал резкий голос:

– Кто там?

– Это я. Кельвин.

Снаут сидел за столом между кучей алюминиевых коробок и пультом передатчика и прямо из банки ел мясные консервы. Не знаю, почему он выбрал для жилья радиостанцию. Я тупо стоял у двери, глядя на его мерно жующие челюсти, и вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к полке, я взял из стопки тарелок наименее пыльную и уселся напротив него. Некоторое время мы ели молча, потом Снаут встал, вынул из стенного шкафа термос и налил в чашки горячий бульон. Ставя термос на пол – на столе уже не было места, – он спросил:

– Видел Сарториуса?

– Нет. А где он?

– Наверху.

Наверху была лаборатория. Мы продолжали есть молча, только слышалось, как вилки скребут по стенкам банок. На радиостанции царила ночь. Окно было тщательно завешено изнутри, под потолком горели четыре круглых светильника. Их отражения переливались в пластмассовом корпусе передатчика.

Я посмотрел на Снаута. На нем был черный, просторный, довольно потрепанный свитер. Натянувшаяся на скулах кожа – вся в красных прожилках.

– С тобой что-нибудь случилось? – спросил Снаут.

– Нет. А что со мной могло случиться?

– Ты весь мокрый.

Я вытер рукой лоб и почувствовал, что буквально обливаюсь потом. Это была реакция. Снаут смотрел на меня изучающе. Сказать ему? Хотелось бы, чтобы он мне больше доверял. Кто с кем здесь играет и в какую игру?

– Жарко, – сказал я. – Мне казалось, что кондиционеры работают у вас лучше.

– Скоро все придет в норму. Ты уверен, что это – только от жары? – Он поднял на меня глаза.

Я сделал вид, будто не замечаю этого.

– Что собираешься делать? – прямо спросил Снаут, когда мы кончили есть.

Он свалил всю посуду и пустые банки в умывальник и вернулся в свое кресло.

– Присоединюсь к вам. У вас же есть какой-то план исследований? Какой-то новый раздражитель, рентген или что-то в этом роде. А?

– Рентген? – Брови Снаута поднялись. – Где ты об этом слышал?

– Не помню... Мне кто-то говорил. Может быть, на «Прометее». А что? Уже применяете?

– Детали мне неизвестны. Это была идея Гибаряна. Он начал с Сарториусом... Но откуда ты можешь об этом знать?

Я пожал плечами:

– Не известны детали? Ты ведь должен был в этом участвовать, это входит в твои... – Я не кончил и замолчал.

Шум кондиционеров утих, температура держалась на сносном уровне.

Снаут встал, подошел к пульту управления и начал для чего-то щелкать тумблерами. Это было бессмысленно, главный выключатель находился в нулевом положении. Немного погодя он, даже не повернувшись ко мне, заметил:

– Нужно будет выполнить все формальности в связи... с этим...

– Да?

Он обернулся и с бешенством взглянул на меня. Не могу сказать, что я умышленно старался вывести его из равновесия, но, ничего не понимая в игре, которая здесь велась, я предпочитал вести себя сдержанно. Его острый кадык ходил над черным воротником свитера.

– Ты был у Гибаряна, – сказал вдруг Снаут.

Это не был вопрос. Подняв брови, я спокойно смотрел ему в лицо.

– Был в его комнате, – повторил он.

Я сделал движение головой, как бы говоря: «Предположим. Ну и что?» Пусть он говорит дальше.

– Кто там еще был?

Он знал о ней!!!

– Никого. А кто там мог быть? – спросил я.

– Почему же ты меня не впустил?

Я усмехнулся.

– Испугался. Ты сам меня предостерегал, и, когда ручка повернулась, я инстинктивно задержал ее. Почему ты не сказал, что это ты? Я бы тебя впустил.

– Я думал, это Сарториус, – сказал он неуверенно.

– Ну и что?

– Как ты относишься к этому... к тому, что произошло? – ответил он вопросом на вопрос.

Я заколебался.

– Ты должен знать больше, чем я. Где он?

– В холодильнике, – ответил Снаут тотчас же. – Мы перенесли его сразу же... утром... жара...

– Где ты его нашел?

– В шкафу.

– В шкафу? Уже мертвого?

– Сердце еще билось, но дыхания не было. Он агонизировал.

– Ты пробовал его спасти?

– Нет.

– Почему?

Снаут помедлил.

– Не успел. Он умер прежде, чем я его уложил.

– Он стоял в шкафу? Между комбинезонами?

– Да.

Снаут подошел к маленькому столику в углу, взял лежавший на нем лист бумаги и положил его передо мной.

– Я написал предварительный протокол. Это даже хорошо, что ты осмотрел его комнату. Причина смерти – инъекция смертельной дозы перносталя. Здесь написано...

Я пробежал глазами короткий текст.

– Самоубийство... – повторил я тихо. – А причина?..

– Нервное расстройство... депрессия... или как это еще называется. Ты знаешь об этом лучше, чем я.

– Я знаю только то, что вижу сам, – ответил я и посмотрел на него.

– Что ты хочешь сказать? – спросил он спокойно.

– Гибарян сделал себе укол перносталя и спрятался в шкаф. Так? Если так, то это не депрессия, не расстройство, а острый психоз. Паранойя... Ему, наверное, казалось, что он что-нибудь видит... – говорил я все медленнее, глядя ему в глаза.

Он отошел от меня к пульта передатчика и снова начал щелкать тумблерами.

– Тут твоя подпись, – после недолгого молчания заметил я. – А Сарториус?

- Он в лаборатории. Я уже говорил. Не появляется. Думаю...
- Что?
- Что он заперся.
- Заперся? О, заперся! Вот как! Может быть, забаррикадировался?
- Возможно.
- Снаут... На станции кто-то есть.
- Ты видел?
- Он смотрел на меня, слегка наклонившись.
- Ты предостерегал меня. От чего? Это галлюцинация?
- Что ты видел?
- Это человек, да?

Снаут молчал. Он отвернулся к стене, как будто не хотел, чтобы я видел его лицо, и барабанил пальцами по металлической перегородке. Я посмотрел на его руки. На них уже не было следов крови. Вдруг меня осенило.

– Эта особа реальна, – сказал я тихо, почти шепотом, как бы открывая тайну, которую могли подслушать. – Да? До нее можно дотронуться. Можно ее ранить... Последний раз ты видел ее сегодня.

- Откуда ты знаешь?

Он не повернулся. Стоял у самой стены, касаясь ее грудью.

- Перед тем как я прилетел? Совсем незадолго?..

Снаут сжался как от удара. Я видел его безумные глаза.

- Ты! – выкрикнул он. – Кто ТЫ такой?!

Казалось, он сейчас бросится на меня. Этого я не ожидал. Все шло кувырком. Он не верил, что я тот, за кого себя выдаю. Что это могло значить? Снаут смотрел на меня с ужасом. Что это, психоз? Отравление? Все было возможно. Но ведь я видел ее, это страшилище... Может быть, я и сам... тоже?..

- Кто это был? – спросил я.

Мой вопрос успокоил его. Некоторое время он смотрел на меня испытующе, как будто еще не доверяя мне. Прежде чем он открыл рот, я понял, что попытка неудачна и что он не ответит.

Снаут медленно сел в кресло и стиснул голову руками.

- Что здесь происходит?.. – сказал он тихо. – Бред...

- Кто это был? – снова спросил я.

- Если ты не знаешь... – буркнул он.

- То что?

- Ничего.

– Снаут, – сказал я, – мы достаточно далеко от дома. Давай в открытую. И так все запутано...

- Чего ты хочешь?

- Чтобы ты сказал, кого видел.

- А ты? – спросил он подозрительно.

– Хитришь? Сказать тебе, и ты скажешь мне. Можешь не беспокоиться. Я тебя не буду считать помешанным, знаю...

– Помешанным! О господи! – Он попытался засмеяться. – Но ведь ты же ничего, совсем ничего... Это было бы спасением... Если бы он хоть на секунду поверил, что это помешательство, он бы не сделал этого, он бы жил.

- Значит, то, что написано в протоколе о нервном расстройстве, – ложь?

- Конечно.

- Почему же ты не написал правду?

– Почему?.. – повторил он.

Снова я был в тупике и ничего не понимал. А мне уже казалось, что я убедил его и мы вместе атакуем эту тайну. Почему, почему он не хотел говорить?!

– Где автоматы? – спросил я.

– На складах. Мы закрыли их все, кроме тех, которые обслуживают полеты.

– Почему?

Он снова не ответил.

– Не скажешь?

– Не могу.

В этом было что-то, чего я никак не мог ухватить. Может быть, пойти наверх, к Сарториусу? Вдруг я вспомнил записку и подумал, что это сейчас самое главное.

– Как ты себе представляешь дальнейшую работу в таких условиях?

Снаут пожал плечами.

– Какое это имеет значение?

– Ах так? И что ты намерен делать?

Он молчал. В тишине было слышно шлепанье босых ног. Среди никелированных и пластмассовых аппаратов, высоких шкафов с электронной аппаратурой, точнейших приборов эта шлепающая, разболтанная походка казалась дикой шуткой какого-то ненормального. Шаги приближались. Я встал, напряженно всматриваясь в Снаута. Он прислушивался, зажмурившись, но совсем не выглядел испуганным. Значит, он боялся не ее?!

– Откуда она взялась? – спросил я.

Снаут медлил.

– Не хочешь сказать?

– Не знаю.

– Ладно.

Шаги удалились и затихли.

– Ты мне не веришь? – спросил Снаут. – Даю слово, что не знаю.

Я молча открыл шкаф со скафандрами и начал раздвигать их тяжелые пустые оболочки. Как я и ожидал, в глубине на крюках висели газовые пистолеты, которыми пользуются для передвижения в состоянии невесомости. В качестве оружия они стоили немного, но выбора не было. Лучше такое, чем ничего. Я проверил зарядное устройство и перекинул через плечо ремень футляра.

Снаут внимательно следил за мной. Когда я регулировал длину ремня, он язвительно усмехнулся, показав желтые зубы.

– Счастливой охоты!

– Спасибо за все, – ответил я, идя к двери.

Он вскочил со стула.

– Кельвин!

Я посмотрел на него. Усмешки уже не было. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое измученное лицо.

– Кельвин, это не... Я... правда не могу, – с трудом проговорил он.

Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он только шевелил губами, как будто старался выдавить из себя слова. Я молча повернулся и вышел.

Сарториус

Коридор был пуст. Сначала он шел прямо, потом поворачивал направо. Я никогда не был на станции, но во время предварительной тренировки шесть недель жил в точной ее копии, находящейся в институте на Земле. Я знал, куда ведет лесенка с алюминиевыми ступеньками.

В библиотеке было темно. На ощупь я нашел выключатель. Когда я отыскал в картотеке первый том Соляристического ежегодника вместе с приложением и нажал кнопку, загорелась красная лампочка. Проверил в регистраторе – книга находилась у Гибаряна, так же как и другая – «Малый Апокриф». Я погасил свет и пошел вниз. Я боялся войти в его комнату: она могла туда вернуться. Некоторое время я стоял у двери, потом, стиснув зубы, превозмог страх и вошел.

В освещенной комнате никого не было. Я методично перекладывал книгу за книгой и наконец, добравшись до последней пачки, лежавшей между кроватью и шкафом, обнаружил нужный том.

Я надеялся найти в нем какую-нибудь пометку, и действительно, в именном указателе лежала закладка. Красным карандашом на ней было написано имя, которое мне ничего не говорило: Андре Бертон. В книге оно встречалось дважды. Сначала я отыскал первое упоминание о нем и узнал, что Бертон был резервным пилотом на корабле Шеннона. Следующее упоминание было через сто с лишним страниц.

После высадки на Солярис экспедиция действовала чрезвычайно осторожно, однако, когда через шестнадцать дней выяснилось, что плазменный океан не только не проявляет никаких признаков агрессивности, но отступает перед каждым предметом, приближающимся к его поверхности, и всячески избегает непосредственного контакта с какими-либо аппаратами и людьми, Шеннон и его заместитель Тимолис отменили некоторые правила безопасности, так как они страшно затрудняли и замедляли проведение работ.

Экспедиция была разбита на маленькие группы по два-три человека, которые проводили полеты над океаном, удаляясь от базы иногда на далекое расстояние. Используя раньше в качестве защиты излучатели, окружавшие территорию работ, были водворены на базу. Первые четыре дня после этих изменений прошли без всяких происшествий, если не считать случавшихся время от времени поломок кислородной аппаратуры скафандров, так как выходные клапаны оказались очень чувствительными к корродирующему действию ядовитой атмосферы. В связи с этим их приходилось заменять почти ежедневно.

На пятый день – или на двадцать первый, если считать с момента высадки, – двое ученых, Каруччи и Фехнер (один был радиобиологом, а второй – физиком), проводили исследовательский полет над океаном в небольшом двухместном аэромобиле. Это был не летательный аппарат, а глиссер, передвигающийся на подушке сжатого воздуха.

Когда через шесть часов они не вернулись, Тимолис, который руководил базой в отсутствие Шеннона, объявил тревогу и выслал всех свободных людей на поиски.

По несчастному стечению обстоятельств в этот день примерно через час после вылета исследовательских групп нарушилась радиосвязь. Причиной тому было большое пятно на красном солнце. Оно излучало мощные корпускулярные потоки, достигавшие верхних слоев атмосферы. Действовали только ультракоротковолновые аппараты, которые позволяли поддерживать связь на расстоянии около двухсот километров. В довершение всего перед заходом солнца сгустился туман, и поиски пришлось прекратить.

И только когда спасательные группы уже возвращались на базу, одна из них на расстоянии ста тридцати километров от берега наткнулась на аэромобиль. Двигатель работал, и

совершенно исправная машина висела над волнами. В прозрачной кабине находился только Каруччи. Он был без сознания.

Аэромобиль доставили на базу, и Каруччи поручили заботам медиков. В тот же вечер он пришел в себя. О судьбе Фехнера Каруччи ничего не мог сказать. Помнил только, что, когда они уже решили возвращаться, он почувствовал удушье. Дыхательный клапан заклинился, и внутрь скафандра при каждом вдохе проникала небольшая порция ядовитых газов.

Фехнер, пытаясь исправить его аппарат, вынужден был отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Каруччи. Возможный ход событий, по мнению специалистов, был таким. Исправляя аппарат Каруччи, Фехнер открыл фонарь кабины, вероятно, потому, что под низким куполом он не мог свободно двигаться. Это было допустимо, так как кабины таких машин не были герметичными и только защищали от непосредственного воздействия атмосферы и ветра. Во время этих манипуляций мог испортиться аппарат Фехнера, и ученый, потеряв ориентацию, выбрался через открытый купол из машины и свалился вниз.

Такова история первой жертвы океана. Поиски тела – в скафандре оно должно было плавать на поверхности океана – не дали результатов. Впрочем, возможно, оно и плавало. Тщательно прочесать тысячу квадратных километров почти постоянно покрытой лохмотьями тумана волнистой пустыни было просто невозможно.

До сумерек – я возвращаюсь к предшествующим событиям – вернулись все спасательные аппараты, за исключением большого грузового вертолета, на котором вылетел Бертон.

Он показался над базой примерно через час после наступления темноты, когда о нем уже начали серьезно беспокоиться. Бертон находился в состоянии нервного шока. Он выбрался из вертолета только для того, чтобы кинуться бежать. Когда его поймали, он кричал и плакал. Для мужчины, у которого за плечами насчитывалось семнадцать лет космических полетов, иногда в тяжелейших условиях, это было поразительно. Врачи решили, что он тоже отравился.

Через два дня Бертон, который, даже вернувшись к кажущемуся равновесию, не хотел ни выйти хоть на минуту из главной ракеты экспедиции, ни даже подойти к окну, из которого открывался вид на океан, заявил, что желает подать рапорт о своем полете. Он настаивал на этом, утверждая, что речь идет о деле чрезвычайной важности.

Его рапорт был рассмотрен советом экспедиции, признан плодом больного воображения человека, отравленного газами атмосферы, и как таковой помещен не в историю экспедиции, а в историю болезни Бертона. На этом все и кончилось.

Существо дела составлял, очевидно, сам рапорт Бертона – то, что привело этого пилота к нервному потрясению. Я снова начал переключать книги, но «Малого Апокрифа» обнаружить не удалось. Я очень устал и поэтому, отложив дальнейшие поиски до утра, вышел из комнаты.

На ступеньках алюминиевой лестники лежали пятна света, падающего сверху. Значит, Сарториус все еще работал. Так поздно! Я подумал, что должен с ним встретиться.

Наверху было тепло. В широком низком коридоре дул легкий ветерок. Над вентиляционными отверстиями шелестели полоски бумаги. Двери главной лаборатории представляли собой толстую плиту шероховатого стекла, вставленного в металлическую раму. Изнутри стекло было заслонено чем-то темным. Свет пробивался только сквозь узкие окна под самым потолком. Я нажал ручку, но, как и ожидал, дверь не поддавалась. Внутри было тихо, и лишь время от времени слышался какой-то слабый писк. Я постучал – никакого ответа.

– Сарториус! – крикнул я. – Доктор Сарториус! Это я, новичок, Кельвин! Мне нужно с вами увидеться, прошу вас, откройте!

Негромкий шорох, словно кто-то ступал по мятой бумаге, – и снова тишина.

– Это я – Кельвин! Вы ведь обо мне слышали?! Я прилетел два часа назад на «Прометее»! – кричал я, приблизив губы к щели между наличником и дверью. – Доктор Сарториус! Тут никого нет, только я! Откройте!

Молчание. Потом едва уловимый шум. Несколько раз что-то лязгнуло, словно кто-то укладывал металлические инструменты на металлический поднос. И вдруг... Я остолбенел. Раздался звук мелких шажков, будто бегал ребенок. Частый, поспешный топот маленьких ножек. Может... может быть, кто-нибудь имитировал его, очень ловко ударяя пальцами по пустой, хорошо резонирующей коробке?

– Доктор Сарториус! – заревел я. – Вы откроете или нет?!

Никакого ответа, только снова детская трусца и одновременно несколько быстрых, плохо слышных размашистых шагов. Похоже было, что человек шел на цыпочках. Но если он шел, то не мог одновременно имитировать детские шаги? «А впрочем, какое мне до этого дело!» – подумал я и, уже не сдерживая бешенства, которое начинало меня охватывать, заорал:

– Доктор Сарториус!!! Я не для того летел сюда шестнадцать месяцев, чтобы посмотреть, как вы разыгрываете комедию! Считаю до десяти! Потом высажу дверь!!!

Я очень сомневался, что мне это удастся.

Струя газового пистолета не слишком сильна, но я был полон решимости выполнить свою угрозу тем или иным способом. Хотя бы мне пришлось отправиться на поиски взрывчатки, которая наверняка имелась на складе в достаточном количестве. Я сказал себе, что не должен уступать, что не могу играть этими мечеными безумием картами, которые вкладывала мне в руки ситуация.

Послышался странный звук, словно кто-то с кем-то боролся или что-то толкал, занавеска внутри отодвинулась примерно на полметра, гибкая тень упала на матовую, как бы покрытую инеем плиту двери, и хрипловатый дискант сказал:

– Я открою, но вы должны обещать, что не войдете внутрь.

– Тогда зачем вы хотите открыть? – крикнул я.

– Я выйду к вам.

– Хорошо. Обещаю.

Легкий щелчок поворачиваемого в замке ключа, потом темная фигура, заслонившая половину двери, старательно задернула занавеску и проделала целую серию каких-то непонятных движений. Мне показалось, что я услышал треск передвигаемого деревянного столика, наконец дверь немного приоткрылась, и Сарториус протиснулся в коридор.

Он стоял передо мной, заслоняя собой дверь, очень высокий, худой; казалось, его тело под кремовым трикотажным комбинезоном состоит из одних только костей. Шея была повязана черным платком, на плече висел сложенный вдвое, прожженный реактивами лабораторный фартук. Чрезвычайно узкую голову он держал немного набок. Почти половину лица закрывали изогнутые черные очки, так что глаз не было видно. У него была длинная нижняя челюсть, синеватые губы и огромные, как будто отмороженные, тоже синеватые уши. Он был небрит. С запястьев на шнурах свисали перчатки из красной резины. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга с явной неприязнью. Остатки его волос (он выглядел так, будто остригся под ежик) были свинцового цвета, щетина на лице – совсем седая. Лоб такой же загорелый, как и у Снаута, но загар кончался примерно на середине лба четкой горизонтальной линией. Очевидно, на солнце он постоянно носил какую-то шапочку.

– Слушаю, – произнес он наконец.

Мне показалось, что он не столько ждет, когда я заговорю, сколько напряженно вслушивается в пространство за собой, все сильнее прижимаясь спиной к стеклянной плите. Некоторое время я не находил, что сказать, боялся брякнуть глупость.

– Меня зовут Кельвин... вы должны были обо мне слышать, – начал я. – Я работаю, то есть... работал с Гибаряном.

Его худое лицо, все изрезанное вертикальными морщинами – так, наверное, выглядел Дон-Кихот, – ничего не выражало. Черная изогнутая пластина нацеленных на меня очков страшно мешала мне говорить.

– Я узнал, что Гибарян... что его нет. – У меня перехватило дыхание.

– Да. Слушаю!..

Это прозвучало нетерпеливо.

– Он покончил с собой?.. Кто нашел тело, вы или доктор Снаут?

– Почему вы обращаетесь с этим ко мне? Разве доктор Снаут вам не рассказал?..

– Я хотел услышать, что вы можете рассказать об этом...

– Вы психолог, доктор Кельвин?

– Да. А что?

– Ученый?

– Ну да. Но какая связь...

– А я думал, что вы сыщик или полицейский. Сейчас без двадцати три, а вы, вместо того чтобы постараться включиться в ход работ, ведущихся на станции, что было бы по крайней мере понятно, кроме наглой попытки ворваться в лабораторию еще и допрашиваете меня, как будто я на подозрении.

Я сдержался, и от этого усилия пот выступил у меня на лбу.

– Вы на подозрении, Сарториус! – произнес я сдавленным голосом. Я хотел досадить ему любой ценой и поэтому с остервенением добавил: – И вы об этом прекрасно знаете!

– Если вы, Кельвин, не возьмете свои слова обратно и не извинитесь передо мной, я подам на вас жалобу в радиосводке!

– За что я должен извиниться? За что? Вместо того чтобы меня встретить, вместо того чтобы честно посвятить меня в то, что здесь происходит, вы запираетесь в лаборатории!!! Вы что, окончательно сошли с ума?! Кто вы такой – ученый или жалкий трус?! Что? Может быть, вы ответите?!

Не помню, что я еще кричал. Его лицо даже не дрогнуло. Только по бледной пористой коже скатывались крупные капли пота. Вдруг я понял: он вовсе не слушает меня! Обеими руками, спрятанными за спиной, он изо всех сил держал дверь, которая еле заметно дрожала, словно кто-то напирал на нее с другой стороны.

– Уходите... – простонал он странным плаксивым голосом. – Уходите... умоляю! Идите, идите вниз, я приду, приду, сделаю все, что хотите, только уходите!!!

В его голосе была такая мука, что я, совершенно растерявшись, машинально поднял руки, желая помочь ему держать дверь, которая уже поддавалась, но он издал ужасный крик, как будто я замахнулся на него ножом. Я начал пятиться назад, а он все кричал фальцетом:

– Иду! Иду! – И снова: – Иду! Уже иду! Уже иду!!! Нет!!! Нет!!!

Он приоткрыл дверь и бросился внутрь. Мне показалось, что на высоте его груди мелькнуло что-то золотистое, какой-то сверкающий диск. Из лаборатории теперь доносился глухой шум, занавеска отлетела в сторону, огромная высокая тень мелькнула на стеклянном экране, занавеска вернулась на место, и больше ничего не было видно. Что там происходило? Я услышал топот, шальная гонка оборвалась пронзительным скрежетом бьющегося стекла, а потом раздался заходящийся детский смех.

У меня дрожали ноги, я растерянно осматривался. Стало тихо. Я сел на низкий пластмассовый подоконник и сидел, наверное, с четверть часа, сам не знаю, то ли ожидая чего-то, то ли просто вымотанный до предела, так что мне даже не хотелось встать.

Где-то высоко послышался резкий скрип, и одновременно вокруг стало светлее.

С моего места была видна только часть коридора, который опоясывал лабораторию. Это помещение находилось на самом верху станции, непосредственно под верхней плитой панциря. Наружные стены здесь были вогнутые и наклонные, с похожими на бойницы окнами, расположенными через каждые несколько метров. Внешние заслонки уползли вверх.

Голубой день кончался. Сквозь толстые стекла ворвался ослепляющий блеск. Каждая никелированная планка, каждая дверная ручка запылала, как маленькое солнце. Дверь в лабораторию – это большая плита шершавого стекла – засверкала, как жерло топки. Я смотрел на свои посеревшие в этом призрачном свете, сложенные на коленях руки. В правой был газовый пистолет. Понятия не имею, когда выхватил его из футляра. Я положил его обратно. Я уже знал, что мне не поможет даже атомная пушка – что ею можно сделать? Разнести дверь? Ворваться в лабораторию?

Я встал. Погружающийся в океан, похожий на водородный взрыв диск послал мне вдогонку горизонтальный пучок почти материальных лучей. Когда они тронули мою щеку (я уже спускался по лестнице вниз), я почувствовал прикосновение раскаленного клейма.

Спустившись до половины лестницы, я передумал, вернулся наверх и обошел лабораторию. Как я уже говорил, коридор окружал ее. Пройдя шагов сто, я очутился на другой стороне, у совершенно такой же стеклянной двери, но даже не пробовал ее открыть.

Я искал какое-нибудь окошко в пластиковой стене, какой-нибудь щели. Мысль о том, чтобы подсмотреть за Сарториусом, не казалась мне низкой. Я хотел покончить со всеми домыслами и узнать правду, хотя совершенно не представлял себе, как удастся ее понять.

Мне пришло в голову, что лабораторные помещения освещаются через верхние окна, прорезанные в обшивке, и что если я выберусь наружу, то, возможно, сумею заглянуть сквозь них в лабораторию. Для этого я должен был спуститься вниз за скафандром и кислородным аппаратом. Я стоял у лестницы, раздумывая, стоит ли игра свеч. Вероятнее всего, стекла в окнах матовые. Но что мне оставалось делать? Я спустился на средний этаж. Пришлось пройти мимо радиостанции. Ее дверь была распахнута настежь. Снаут сидел в кресле в том же положении, в каком я его оставил. Он спал, но, услышав звук моих шагов, вздрогнул и открыл глаза.

– Алло, Кельвин! – хрипло окликнул он меня.

Я молчал.

– Ну что? Узнал что-нибудь? – спросил он.

– Да, – ответил я, помедлив. – Он не один.

Снаут скривил губы:

– Скажи пожалуйста! Это уже что-то. Так, говоришь, у него гости?

– Не понимаю, почему вы не хотите мне сказать, что это такое, – нехотя проговорил я. – Ведь, оставаясь тут, я все равно рано или поздно все узнаю. Зачем же эти тайны?

– Поймешь, когда к тебе самому придут гости, – ответил Снаут.

Казалось, он ждет чего-то и не очень хочет продолжать беседу.

– Куда идешь? – бросил он, когда я повернулся.

Я не ответил.

На ракетодроме ничего не изменилось. На возвышении стояла моя обожженная капсула. Я подошел к стойкам со скафандрами, и вдруг у меня пропало всякое желание выбираться наружу. Я повернулся и по крутой лесенке спустился вниз, туда, где были склады.

Узкий коридор был загроможден баллонами и поставленными друг на друга ящиками. Стены его отливали синевой ничем не покрытого металла. Еще несколько десятков шагов – и под потолком показались подернутые белым инеем трубы холодильной аппаратуры. Я пошел дальше, ориентируясь по ним. Сквозь прикрытую толстым пластмассовым щитком муфту они проникали в герметически закрытое помещение. Когда я открыл тяжелую, тол-

щиной в две ладони дверь с резиновой кромкой, меня охватил пронизывающий до костей холод. Я задрожал. Из чащи заснеженных змеевиков свисали ледяные сосульки. Здесь тоже стояли покрытые слоем снега ящики, коробки, полки у стен были завалены банками и упакованными в прозрачный пластик желтоватыми глыбами какого-то жира.

В глубине бочкообразный свод понижался. Там висела толстая, искрящаяся от ледяных игл занавеска. Я отодвинул ее край. На возвышении из алюминиевых решеток покоился покрытый серой тканью большой продолговатый предмет. Я поднял край полотна и увидел искаженное лицо Гибаряна. Черные волосы с седой прядью надо лбом гладко прилегали к черепу. Кадык торчал высоко, переламявая линию шеи. Высохшие глаза смотрели прямо в потолок, в углу одного глаза собралась мутная капля замерзшей воды. Холод пронизывал меня, я с трудом заставлял себя не стучать зубами. Не выпуская савана, я другой рукой прикоснулся к его щеке. Ощущение было такое, будто я дотронулся до мерзлого полена. Кожа была шершавой из-за щетины, которая покрывала ее черными точками. Выражение неизмеримого, презрительного терпения застыло в изгибе губ. Опуская край ткани, я заметил, что по другую сторону тела из складок высовывается несколько черных продолговатых бусинок или зерен фасоли. Я замер.

Это были пальцы голых ступней, которые я видел со стороны подошвы; яйцеобразные подушечки пальцев были слегка раздвинуты. Под мятым пологом савана лежала негритянка.

Она лежала лицом вниз, как бы погруженная в глубокий сон. Дюйм за дюймом стягивал я толстую ткань. Голова, покрытая волосами, собранными в маленькие синеватые пучки, покоилась на сгибе черной массивной руки. Лоснящаяся кожа спины натянулась на бугорках позвонков. Ни малейшее движение не оживляло огромное тело. Еще раз я посмотрел на босые подошвы ее ног, и вдруг меня поразила одна удивительная деталь: они не были ни сплющены, ни сбиты той тяжестью, которую должны были носить, на них даже не ороговела кожа от хождения босиком, она была такой же тонкой, как на руках или плечах.

Я проверил это впечатление прикосновением, которое далось мне гораздо труднее, чем прикосновение к мертвому телу. И тут произошло невероятное: лежащее на двадцатиградусном морозе тело было живым, оно пошевелилось. Негритянка подтянула ногу, словно собака, которую взяли за лапу.

«Она здесь замерзнет», – подумал я. Но ее тело было спокойно и не слишком холодно, я еще чувствовал кончиками пальцев мягкое прикосновение. Я попятился за занавеску, опустил ее и вернулся в коридор. Мне показалось, что в нем дьявольски жарко. Лестница снова привела меня в зал ракетодома. Я уселся на свернутый парашют и обхватил голову руками. Я не знал, что со мной происходит, я был совершенно разбит, мысли сползали в какую-то пропасть – потеря сознания, смерть казались мне невыразимой, недоступной милостью.

Мне незачем было идти к Снауту или к Сарториусу, я не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог сложить в единое целое то, что я до сих пор пережил, видел, до чего дотронулся собственными руками. Единственным спасением, бегством, объяснением был диагноз – сумасшествие. Да, я, должно быть, сошел с ума сразу же после посадки. Океан действовал на мой мозг – я переживал галлюцинацию за галлюцинацией, а если это так, то незачем растрачивать силы на бесполезные попытки разгадать не существующие в действительности загадки, нужно прибегнуть к медицинской помощи, вызвать по радио «Прометей» или какой-нибудь другой корабль, дать сигнал SOS...

Тут случилось то, чего я никак не ожидал: мысль, что я сошел с ума, успокоила меня.

Я даже слишком хорошо понимал теперь слова Снаута – если допустить, что вообще существовал какой-то Снаут и что я с ним когда-либо разговаривал. Ведь галлюцинации могли начаться гораздо раньше. Кто знает, не нахожусь ли я еще на борту «Прометей», пораженный внезапным приступом мозгового заболевания; возможно, все, что я пережил, было лишь созданием моего разгоряченного воображения. Однако если я был болен, то мог выздо-

роветь, а это давало мне по крайней мере надежду на спасение, которой я никак не мог узреть в длящихся всего несколько часов запутанных кошмарах Соляриса.

Необходимо было, следовательно, провести прежде всего какой-нибудь логично продуманный эксперимент над самим собой – *experimentum crucis*³, который показал бы мне, действительно ли я свихнулся и стал жертвой бредовых видений, или же, несмотря на их полную абсурдность и неправдоподобность, мои переживания реальны.

Так я размышлял, присматриваясь к металлическому кронштейну, который поддерживал несущую конструкцию ракетодома. Это была выступающая из стены выложенная выпуклыми плитами стальная мачта, окрашенная в салатный цвет; в нескольких местах, на высоте примерно метра, краска облупилась, – наверное, ее ободрали проезжающие здесь тележки. Я дотронулся до стали, погрел ее немножко ладонью, постучал по кромке предохранительной плиты: может ли бред достигать такой степени реальности? Может, ответил я сам себе; как-никак, это была моя специальность, в этом я разбирался.

А можно ли придумать этот ключевой эксперимент? Сначала мне казалось, что нет, ибо мой больной мозг (если, конечно, он больной) будет создавать любые иллюзии, каких я от него потребую. Ведь не только при болезни, но и в самом обычном сне случается, что мы разговариваем с неизвестными нам наяву людьми, задаем этим снящимся образам вопросы и слышим их ответы; причем, хотя эти люди в действительности лишь плод нашей собственной психики, выделенные временно ее псевдосамостоятельными частями, мы не знаем, какие слова они произнесут, до тех пор, пока они (во сне) не обратятся к нам. А ведь на самом деле эти слова созданы той же обособленной частью нашего собственного разума, и поэтому мы должны были их знать уже в тот момент, когда сами их придумали, чтобы вложить в уста фиктивного собеседника. Таким образом, что бы я ни задумал, ни осуществил, я всегда мог себе сказать, что поступил так, как поступают во сне. И Снаут, и Сарториус могли вовсе не существовать в действительности, поэтому задавать им какие бы то ни было вопросы было бессмысленно.

Я подумал, что мог бы принять какое-нибудь лекарство, какое-нибудь сильно действующее средство, например пеотил или другой препарат, который вызывает галлюцинации или цветовые видения. Появление этих феноменов доказало бы, что принятое мной вещество существует на самом деле и является частью материальной, окружающей меня действительности. Но и это, продолжал я свою мысль, не было бы нужным ключевым экспериментом, поскольку я знал, как должно действовать средство (которое я сам бы выбрал), а значит, могло случиться, что как прием этого лекарства, так и вызванный им эффект будут одинаково созданием моего воображения.

Мне уже казалось, что, попав в этот замкнутый круг, я не сумею из него вырваться, ведь нельзя мыслить иначе, чем мозгом, нельзя выбраться из самого себя, чтобы проверить нормальность проходящих в организме процессов, – как вдруг меня осенила мысль, столь же простая, сколь удачная.

Я вскочил и помчался прямо на радиостанцию. Там никого не было. Мимоходом я бросил взгляд на стенные электрические часы. Было около четырех часов ночи, условной ночи станции, снаружи царил красный рассвет. Я быстро включил аппаратуру дальней радиосвязи и, ожидая, когда нагреются лампы, еще раз мысленно повторил каждый этап эксперимента.

Я не помнил, каким сигналом вызывается автоматическая станция обращавшегося вокруг Соляриса сателлоида, но нашел его на таблице, висящей над главным пультом. Послал вызов и через восемь секунд получил ответ. Сателлоид, а точнее, его электронный мозг, отозвался ритмично повторяющимися импульсами. Тогда я потребовал, чтобы он с точностью до пятого десятичного знака сообщил, какие меридианы звездного купола Галактики

³ Ключевой эксперимент. Буквально – проба крестом (*лат.*).

он пересекает в интервалах в двадцать две секунды, обращаясь вокруг Соляриса. Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришел через десять минут. Я оторвал бумажную ленту с отпечатанным на ней результатом и, спрятав ее в ящик (я старался не бросить на нее ни одного взгляда), принес из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, справочник суточного движения спутника и еще несколько книг, после чего начал искать ответ на тот же самый вопрос. Почти час ушел на составление уравнений. Не помню, когда последний раз мне пришлось столько считать. Наверное, еще в студенческие годы на экзамене по практической астрономии.

Вычисление я проводил на большом калькуляторе станции. Мои рассуждения были примерно такими. По картам неба я получу цифры, не точно совпадающие с данными, сообщенными сателлоидом. Не точно, потому что сателлоид подвержен очень сложным пертурбациям, вызванным влиянием гравитационных сил Соляриса, его обоих, кружащихся друг около друга солнц, а также локальных изменений притяжения, создаваемых океаном. Когда у меня будет два ряда цифр – полученных от сателлоида и вычисленных теоретически, – я внесу в мои вычисления поправки. Тогда обе группы результатов должны совпасть до четвертого знака после запятой. Расхождения будут только в пятом знаке, они отразят неучтенное воздействие океана.

Ведь если цифры, сообщенные сателлоидом, не существуют в действительности, а являются плодом моего воображения, то они никак не смогут совпасть с другим рядом – вычисленных данных. Мозг мой может быть больным, но ни при каких условиях он не в состоянии произвести вычисления, выполненные большим калькулятором станции, так как на это потребовалось бы много месяцев. А следовательно, если цифры совпадут, значит, большой калькулятор станции на самом деле существует, и я пользовался им в действительности, а не в бреду.

У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика бумажную телеграфную ленту и, расправляя, клал ее рядом с другой, более широкой, из калькулятора. Оба ряда цифр, как я и предполагал, совпадали до четвертого знака. Расхождение появилось только в пятом. Я спрятал все бумаги в ящик. Итак, калькулятор существовал независимо от меня. А значит, станция и все, что на ней есть, реально существуют.

Я уже хотел закрыть ящик, когда заметил в нем целую пачку листков, покрытых нетерпеливыми подсчетами. Я вынул пачку и с первого взгляда понял, что кто-то уже проводил эксперимент, похожий на мой, с той только разницей, что вместо данных, касающихся звездной сферы, потребовал от сателлоида измерений альбедо Соляриса в сорокасекундных интервалах.

Я не был сумасшедшим. Последний лучик надежды угас. Я выключил передатчик, выпил остатки бульона из термоса и пошел спать.

Хари

Все расчеты я делал с каким-то молчаливым остервенением, и только оно удерживало меня на ногах. Я настолько отупел от усталости, что даже не сумел разложить кровать, и вместо того, чтобы освободить верхние зажимы, потянул за поручень, и постель свалилась прямо на меня. Наконец я опустил кровать, сбросил одежду и белье прямо на пол и полуживой упал на подушку, даже не надув ее как следует. Я заснул при свете, не помню когда. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Комнату заливало угрюмое красное сияние. Мне было холодно и хорошо. Напротив кровати, под окном, кто-то сидел в кресле, освещенный красным солнцем. Это была Хари. В белом платье, босая, темные волосы зачесаны назад, тонкий материал натянулся на груди, загоревшие до локтей руки опущены. Хари неподвижно смотрела на меня из-под своих черных ресниц. Я разглядывал ее долго и, в общем, спокойно. Моей первой мыслью было: «Как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что тебе все снится». И все-таки мне хотелось, чтобы она исчезла. Я закрыл глаза и заставил себя хотеть этого очень сильно, но, когда открыл их снова, она по-прежнему сидела передо мной. Губы она сложила по-своему, будто собиралась свистнуть, но в глазах не было улыбки. Я припомнил все, что думал о снах накануне вечером, перед тем как лечь спать. Хари выглядела точно так же, как тогда, когда я видел ее последний раз живой, а ведь тогда ей было девятнадцать. Сейчас ей было бы двадцать девять, но, естественно, ничего не изменилось – мертвые остаются молодыми. Она глядела на меня все теми же всему удивляющимися глазами. «Кинуть в нее чем-нибудь», – подумал я, но, хотя это был только сон, не решился.

– Бедная девочка. Пришла меня навестить, да? – сказал я и немного испугался, потому что мой голос прозвучал так правдиво, а комната и Хари – все выглядело так реально, как только можно себе представить.

Какой пластичный сон, мало того, что он цветной, я вдобавок увидел тут на полу многие вещи, которых вчера, ложась спать, даже не заметил. «Когда проснусь, – решил я, – нужно будет проверить, действительно ли они здесь лежат, или это только во сне, как Хари...»

– И долго ты намерена так сидеть? – спросил я и заметил, что говорю очень тихо, словно боюсь, что меня услышат. Как будто можно подслушать, что происходит во сне.

В это время солнце уже немного поднялось. «Ну вот, – подумал я, – отлично. Я ложился, когда был красный день, затем должен наступить голубой и только потом второй красный. Поскольку я не мог без перерыва проспать пятнадцать часов, это наверняка сон».

Успокоенный, я внимательно присмотрелся к Хари. Свет падал на нее сзади. Луч, проходящий сквозь щель в занавеске, золотил бархатный пушок на ее левой щеке, а от ресниц на лицо падала длинная тень. Она была прелестна. «Скажите пожалуйста, – пришла мне в голову мысль, – какой я скрупулезный, даже по ту сторону реальности. И движение солнца отмечаю, и то, что у нее ямочка там, где ни у кого нет, под уголком удивленных губ». И все же мне хотелось, чтобы это поскорее кончилось.

Пора заняться работой. Я изо всех сил зажмурился, стараясь проснуться, но вдруг услышал скрип и тотчас открыл глаза.

Хари сидела рядом со мной на кровати и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она тоже улыбнулась и наклонилась надо мной. Первый поцелуй был легким, как будто мы были детьми. Я целовал ее долго. «Разве можно так пользоваться сном?» – подумал я. Но ведь это даже не измена ее памяти, ведь мне снится она. Она сама. Никогда со мной такого не случалось...

Мы лежали навзничь и по-прежнему ничего не говорили. Когда она поднимала лицо, мне становились видны маленькие ноздри, которые всегда были барометром ее настроения.

Кончиками пальцев я потрогал ее уши – мочки порозовели от поцелуев. Не знаю, от этого ли мне стало так беспокойно; я все еще говорил себе, что это сон, но сердце у меня сжималось.

Я напрягся, чтобы вскочить с постели, но приготовился к неудаче – во сне мы очень часто не можем управлять собственным телом, – скорее я рассчитывал проснуться от этого усилия, но не проснулся, а просто сел на кровати, спустив ноги на пол. «Ничего не поделаешь, пусть снится до конца», – сдался я, но хорошее настроение исчезло окончательно. Я боялся.

– Чего ты хочешь? – Голос звучал хрипло, и мне пришлось откашляться.

Машинально я начал искать ногами ночные туфли, но, прежде чем вспомнил, что здесь нет никаких туфель, сильно ушиб палец; я даже зашипел от боли. «Ну, теперь это кончится», – с удовлетворением решил я.

Но ничего не произошло. Когда я сел, Хари отодвинулась. Плечами она оперлась о спинку кровати. Платье ее чуть-чуть подрагивало под левой грудью в такт биению сердца. Она смотрела на меня со спокойным интересом. Я подумал, что лучше всего принять душ, но сразу же сообразил, что душ, который снится, не может разбудить.

– Откуда ты взялась?

Она подняла мою руку и стала подбрасывать ее знакомым движением.

– Не знаю. Это плохо?

И голос был тот же, низкий... и рассеянный тон. Она всегда говорила так, будто мысли ее заняты чем-то другим.

– Тебя... кто-нибудь видел?

– Не знаю. Я просто пришла. Разве это важно, Крис?

Хари все еще играла моей рукой, но ее лицо больше в этом не участвовало. Она нахмурилась.

– Хари?..

– Что, милый?

– Откуда ты узнала, где я?

Это ее озадачило.

– Понятия не имею. Смешно, да? Ты спал, когда я вошла, и не проснулся. Мне не хотелось тебя будить, потому что ты злюка. Злюка и зануда. – В такт своим словам она энергично подбрасывала мою руку.

– Ты была внизу?

– Была. Я убежала оттуда. Там холодно.

Она отпустила мою руку. Укладываясь на бок, тряхнула головой, чтобы все волосы были на одной стороне, и посмотрела на меня с той полуулыбкой, которая много лет назад перестала меня дразнить только тогда, когда я понял, что люблю ее.

– Но ведь... Хари... ведь... – больше мне ничего не удалось из себя выдавить.

Я наклонился над ней и приподнял короткий рукав платья. Над похожей на цветок меткой от прививки оспы краснел маленький след укола. Хотя я не ожидал этого (так как все еще инстинктивно пытался найти обрывки логики в невозможном), мне стало не по себе. Я дотронулся пальцем до ранки, которая снилась мне годами, так что я просыпался со стоном на растерзанной постели, всегда в одной и той же позе – скорчившись так, как лежала она, когда я нашел ее уже холодной. Наверное, во сне я пытался сделать то же, что она, словно хотел вымолить прощение или быть вместе с ней в те последние минуты, когда она уже почувствовала действие укола и должна была испугаться. Она боялась даже обычной царапины, совершенно не выносила ни боли, ни вида крови и вот теперь сделала такую страшную вещь, оставив пять слов на открытке, адресованной мне. Открытка была у меня в бумажнике, я носил ее при себе постоянно, замусоленную, порванную на сгибах, и не имел мужества с ней расстаться, тысячу раз возвращаясь к моменту, когда она ее писала, и

к тому, что она тогда должна была чувствовать. Я уговаривал себя, что она хотела сделать это в шутку и напугать меня и только доза случайно оказалась слишком большой. Друзья убеждали меня, что все было именно так или что это было мгновенное решение, вызванное депрессией, внезапной депрессией. Но они ведь не знали...

За пять дней до того я сказал ей все и, чтобы задеть ее еще больше, стал собирать вещи. А она, когда я упаковывался, спросила очень спокойно: «Ты понимаешь, что это значит?..» Я сделал вид, что не понимаю, хотя отлично понимал. Я считал ее трусихой и сказал ей об этом, а теперь она лежала поперек кровати и смотрела на меня внимательно, как будто не знала, что я ее убил.

Комната была красной от солнца, волосы Хари блестели, она смотрела на свое плечо, а когда я опустил руку, прижалась холодной гладкой щекой к моей ладони.

– Хари, – прохрипел я. – Это невозможно.

– Перестань!

Ее глаза были закрыты, я видел, как дрожали веки, черные ресницы касались щек.

– Где мы, Хари?

– У нас.

– Где это?

Один глаз на миг открылся и закрылся снова. Она пощекотала ресницами мою ладонь.

– Крис!

– Что?

– Мне хорошо.

Я сидел над ней, не шевелясь. Потом поднял голову и увидел в зеркале над умывальником часть кровати, растрепанные волосы Хари и свои голые колени. Я подтянул ногой один из тех наполовину расплавленных инструментов, которые валялись на полу, взял его свободной рукой, приставил к коже над тем местом, где розовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Боль была резкой. Я смотрел на большие капли крови, которые скатывались по бедру и тихо падали на пол.

И это не помогло. Ужасные мысли, которые бродили у меня в голове, становились все отчетливее. Я больше не говорил себе: «Это сон», теперь я думал: «Нужно защищаться». Я посмотрел на ее босые ноги, потом потянулся к ним, осторожно дотронулся до розовой пятки и провел пальцем по подошве. Она была нежной, как у новорожденного.

Я уже наверняка знал, что это не Хари, и почти не сомневался, что сама она об этом не знает.

Босая нога шевелилась в моей ладони, темные губы Хари набухли от беззвучного смеха.

– Перестань... – шепнула она.

Я мягко отвел руку и встал. Поспешно одеваясь, увидел, как она села на кровати и стала глядеть на меня.

– Где твои вещи? – спросил я и тотчас пожалел об этом.

– Мои вещи?

– Что, у тебя только одно платье?

Теперь это была уже игра. Я умышленно старался говорить небрежно, обыденно, как будто мы вообще никогда не расставались. Она встала и знакомым мне легким и сильным движением провела рукой по платью, чтобы разгладить его. Мои слова ее заинтересовали, но она ничего не сказала, только обвела комнату сосредоточенным, ищущим взглядом и повернулась ко мне с удивлением.

– Не знаю, – сказала беспомощно Хари. – Может быть, в шкафу? – добавила она, приоткрыв дверцы.

– Нет, там только комбинезоны, – ответил я, подошел к умывальнику, взял электро-бритву и начал бриться, стараясь при этом не становиться спиной к девушке, кем бы она ни была.

Она ходила по комнате, заглядывала во все углы, посмотрела в окно, наконец подошла ко мне.

– Крис, у меня такое ощущение, как будто что-то случилось.

Она остановилась. Я выключил бритву и ждал, что будет дальше.

– Как будто я что-то забыла... очень многое забыла. Знаю... помню только себя... и... и ничего больше...

Я слушал ее, стараясь владеть своим лицом.

– Я была... больна?

– Ну, можно это назвать и так. Да, некоторое время ты была немного больна.

– Ага. Это, наверное, оттого.

Она слегка повеселела. Не могу передать, что я чувствовал. Когда она молчала, ходила, сидела, улыбалась, впечатление, что я вижу перед собой Хари, было сильнее, чем сосущая меня тревога. Но моментами мне казалось, что это какая-то упрощенная Хари, сведенная к нескольким характерным обращениям, жестам, движениям. Она подошла совсем близко, уперла сжатые кулаки мне в грудь и спросила:

– Как у нас с тобой? Хорошо или плохо?

– Как нельзя лучше.

Она слегка улыбнулась.

– Когда ты так говоришь, скорее, плохо.

– С чего ты это взяла?... Хари... дорогая... я должен сейчас уйти, – проговорил я поспешно. – Подожди меня, хорошо? А может быть, ты голодна? – добавил я, потому что сам чувствовал все усиливающийся голод.

– Голодна? Нет.

Она тряхнула головой.

– Я должна ждать тебя? Долго?

– Часик, – начал я, но она прервала:

– Пойду с тобой.

Это была уже совсем другая Хари: та не навязывалась. Никогда.

– Детка, это невозможно.

Она смотрела на меня снизу, потом неожиданно взяла меня за руку. Я погладил ее упругое, теплое плечо. Внезапно я понял, что ласкаю Хари. Мое тело узнавало, хотело ее, меня тянуло к ней, несмотря на разум, логику и страх. Стараясь любой ценой сохранить спокойствие, я повторил:

– Хари, это невозможно. Ты должна остаться здесь.

– Нет.

Как это прозвучало!

– Почему?

– Н-не знаю.

Она осмотрелась и снова подняла на меня глаза.

– Не могу... – сказала она совсем тихо.

– Но почему?!

– Не знаю. Не могу. Мне кажется... Мне кажется...

Она настойчиво искала в себе ответ, а когда нашла, то он был для нее откровением.

– Мне кажется, что я должна тебя все время видеть.

В интонации этих слов было что-то, встревожившее меня. И, наверное, поэтому я сделал то, чего совсем не собирался делать. Глядя ей в глаза, я начал выгибать ее руки за спину.

Это движение, сначала не совсем решительное, становилось осмысленным, у меня появилась цель. Я уже искал глазами что-нибудь, чем можно ее связать.

Ее локти, вывернутые назад, слегка стукнулись друг о друга и одновременно напряглись с силой, которая сделала мою попытку бессмысленной. Я боролся, может быть, секунду. Даже атлет, перегнувшись назад, как Хари, едва касаясь ногами пола, не сумел бы освободиться. Но она, с лицом, не принимавшим во всем этом никакого участия, со слабой, неуверенной улыбкой, разорвала мой захват, выпрямилась и опустила руки.

Ее глаза смотрели на меня с тем же спокойным интересом, что и в самом начале, когда я проснулся. Как будто она не обратила внимания на мое отчаянное усилие, вызванное приступом паники. Она стояла неподвижно и словно чего-то ждала – одновременно равнодушная, сосредоточенная и чуточку всем этим удивленная.

Я отпустил ее, оставил на середине комнаты и пошел к полке возле умывальника. Я чувствовал, что попал в кошмарную западню, и искал выхода, перебирая все более беспощадные способы борьбы. Если бы меня кто-нибудь спросил, что со мной происходит и что все это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова. Но я уже уяснил – то, что делается на станции со всеми нами, составляет единое целое, страшное и непонятное. Однако в тот момент я думал о другом, я силился отыскать какой-нибудь трюк, какой-нибудь фокус, который позволил бы мне убежать. Не оборачиваясь, я чувствовал на себе взгляд Хари. Над полкой в стене находилась маленькая аптечка. Я бегло просмотрел ее содержимое, отыскал банку со снотворным и бросил в стакан четыре таблетки – максимальную дозу. Я даже не очень скрывал свои манипуляции от Хари. Трудно сказать почему. Просто не задумывался над этим. Налил в стакан горячей воды, подождал, когда таблетки растворятся, и подошел к Хари, все еще стоявшей посреди комнаты.

– Сердишься? – спросила она тихо.

– Нет. Выпей это.

Не знаю, почему я решил, что она меня послушается. Действительно, она молча взяла стакан из моих рук и залпом выпила снотворное. Я поставил пустой стакан на столик и уселся в углу между шкафом и книжной полкой. Хари медленно подошла ко мне и устроилась на полу возле кресла, подобрав под себя ноги так, как она делала не один раз, и не менее хорошо знакомым движением отбросила назад волосы. Хотя я уже совершенно поверил в то, что это она, каждый раз, когда я узнавал эти ее привычки, у меня перехватывало дыхание. Все это было непонятно и страшно, а страшнее всего было то, что и самому приходилось фальшивить, делая вид, что я принимаю ее за Хари.

Но ведь она-то считала себя Хари, и с этой точки зрения в ее поведении не было никакого коварства. Не знаю, как я дошел до подобной мысли, но в этом я был уверен, если вообще мог быть хоть в чем-нибудь уверен!

Я сидел, а девушка оперлась плечом о мои колени, ее волосы щекотали мою руку, мы оба почти не двигались. Раза два я незаметно смотрел на часы. Прошло полчаса – снотворное должно было подействовать. Хари что-то тихонько пробормотала.

– Что ты говоришь? – спросил я, но она не ответила.

Я принял это за признак нарастающей сонливости, хотя, честно говоря, в глубине души сомневался, что лекарство подействует. Почему? И на этот вопрос не было ответа. Скорее всего потому, что моя хитрость была слишком примитивна.

Понемногу голова Хари склонилась на мое колено, темные волосы закрыли ее лицо. Она дышала мерно, как спящий человек. Я наклонился, чтобы перенести ее на кровать. Вдруг она, не открывая глаз, схватила меня за волосы и разразилась громким смехом.

Я остолбенел, а Хари просто зашлась от смеха. Сощутив глаза, она следила за мной с наивной и хитрой миной. Я сидел неестественно, неподвижно, ошалевший и беспомощный. Хари, вдоволь насмеявшись, прижалась лицом к моей руке и затихла.

– Почему ты смеешься? – спросил я деревянным голосом.

То же выражение немного тревожного раздумья появилось на ее лице. Я видел, что она хочет быть честной. Она потрогала пальцем свой маленький нос и сказала наконец, вздохнув:

– Сама не знаю.

В ее ответе прозвучало непритворное удивление.

– Я веду себя как идиотка, да? – начала она. – Мне ни с того ни с сего как-то... Но ты тоже хорош: сидишь надутый, как... как Пелвис...

– Как кто? – переспросил я; мне показалось, что я ослышался.

– Как Пелвис, ну ты ведь знаешь, тот, толстый.

Уж Хари-то, вне всякого сомнения, не могла знать Пелвиса и даже слышать о нем от меня по той простой причине, что он вернулся из своей экспедиции только через три года после ее смерти. Я тоже не был с ним знаком до этого и не знал, что, председательствуя на собраниях института, он имел обычай затягивать заседание до бесконечности. Собственно говоря, его имя было Пелле Виллис, из этого и образовалось сокращенное прозвище, также неизвестное до его возвращения.

Хари оперлась локтями о мои колени и смотрела мне в глаза. Я взял ее за кисти и медленно провел руками вверх по плечам, так что мои пальцы почти сомкнулись вокруг ее пульсирующей шеи. В конце концов это могла быть и ласка, и, судя по ее взгляду, она так к этому и отнеслась. В действительности я просто хотел убедиться в том, что у нее обыкновенное, теплое человеческое тело и что под мышцами находятся кости. Глядя в ее спокойные глаза, я почувствовал острое желание быстро стиснуть пальцы.

Я уже почти сделал это, когда вдруг вспомнил окровавленные руки Снаута, и отпустил ее.

– Как ты смотришь... – сказала Хари спокойно.

У меня так колотилось сердце, что я был не в состоянии отвечать. На мгновение я закрыл глаза.

И вдруг у меня родился план действий, от начала до конца, со всеми деталями. Не теряя ни минуты, я встал с кресла.

– Мне пора идти, Хари, – сказал я, – и если уж ты так хочешь, то пойдем со мной.

– Хорошо.

Она вскочила.

– Почему ты босая? – спросил я, подходя к шкафу и выбирая среди разноцветных комбинезонов два – для себя и для нее.

– Не знаю... наверное, куда-нибудь закинула туфли, – сказала она неуверенно.

Я пропустил это мимо ушей.

– В платье ты не сможешь этого надеть, придется тебе его снять.

– Комбинезон? А зачем? – поинтересовалась она и сразу же начала стягивать с себя платье. Но тут выяснилась удивительная вещь. Платье нельзя было снять, у него не было никакой застежки, ни молнии, ни крючков, ничего. Красные пуговицы посередине были только украшением. Хари смущенно улыбнулась. Сделав вид, что это самая обычная вещь на свете, я поднял с пола похожий на скальпель инструмент и разрезал платье на спине, в том месте, где кончалось декольте. Теперь она могла снять его через голову. Комбинезон был немного великоват.

– Полетим?.. И ты тоже? – допытывалась она, когда мы оба уже одетыми покидали комнату. Я только кивнул головой. Я ужасно боялся, что мы встретим Снаута, но коридор, ведущий на взлетную площадку, был пуст, а двери радиостанции, мимо которой пришлось пройти, – закрыты.

Хари следила за тем, как я на небольшой электрической тележке выкатил из среднего бокса на свободный путь ракету. Я поочередно проверил исправность микрореактора, дистанционное управление рулей и дюз, потом вместе со стартовой тележкой перекатил ракету на круглую плоскость стартового диска под центральной воронкой купола, предварительно убрав оттуда мою пустую капсулу.

Это была небольшая ракета для поддержания связи между станцией и сателлоидом, которая использовалась для перевозки грузов, а не людей. Люди летали в ней только в исключительных случаях, так как ее нельзя было открыть изнутри. Именно это и составляло часть моего плана. В действительности я не собирался запускать ракету, но делал все так, будто по-настоящему готовил ее к старту. Хари, которая столько раз бывала моей спутницей в путешествиях, немного разбиралась в этом. Я еще раз проверил внутри состояние кислородной аппаратуры и кондиционера, привел все в действие, а когда после включения главной цепи загорелись сигнальные лампочки, вылез из тесной кабины и указал на нее Хари, которая стояла у лесенки:

– Забирайся.

– А ты?

– Я за тобой. Мне нужно будет закрыть за нами люк.

Я был уверен, что она не заметит моей хитрости. Когда она забралась по лесенке в кабину, я сразу же всунул голову внутрь, спросил, удобно ли она расположилась, и, услышав глухое сдавленное «да», откатнулся назад и с размаху захлопнул люк. Двумя движениями вбил обе задвижки до упора и приготовленным ключом начал доворачивать пять болтов, закрепленных в углублениях обшивки.

Заостренная сигара стояла вертикально, как будто действительно должна была через мгновение уйти в пространство. Я знал, что с той, которая заперта внутри, не случится ничего плохого. В ракете было достаточно кислорода и даже немножко продовольствия. В конце концов я вовсе не собирался держать ее там до бесконечности.

Я стремился любой ценой добыть хотя бы пару часов свободы, чтобы составить планы на будущее и наладить контакт со Снаутом. Теперь уже на равных правах.

Затянув предпоследний болт, я почувствовал, что металлические стойки, в которых торчала ракета, подвешенная только за три небольших выступа, слегка дрожат, но подумал, что это я сам, изо всех сил орудя большим ключом, нечаянно раскачал стальную глыбу.

Однако когда я отошел на несколько шагов, то увидел такое, чего не хотел бы увидеть еще раз.

Ракета ходила ходуном, подбрасываемая сериями падающих изнутри ударов, и каких ударов! Если бы место черноволосой стройной девушки занял стальной автомат, наверное, даже он не сумел бы ввергнуть восьмитонную массу в эту конвульсивную тряску.

Отражения ламп в полированной поверхности ракеты переливались и плясали. Звук ударов я, правда, не слышал, внутри ракеты было совершенно тихо. Только широко расставленные опоры конструкции, в которой висела ракета, утратили четкость рисунка, они вибрировали, как струны. Частота колебаний была такой, что я испугался за целостность обшивки. Трясущимися руками я затянул последний болт, отшвырнул ключ и соскочил с лесенки. Медленно пятясь задом, я видел, как шпильки амортизаторов, рассчитанных только на постоянное давление, подпрыгивают в своих гнездах. Мне показалось, что бронированная оболочка теряет свой однородный монолитный блеск. Как сумасшедший, подскочил я к пульту дистанционного управления, обеими руками толкнул вверх ручки запуска реактора и связи. И тогда из репродуктора, подключенного к кабине ракеты, вырвался пронзительный не то визг, не то свист, совершенно непохожий на человеческий голос, но, несмотря на это, я разобрал в нем повторяющееся, воющее: «Крис! Крис!!!»

Не могу сказать, что я слышал это отчетливо. Кровь лилась с моих ободранных рук, я хаотично, в бешеном темпе стремился запустить ракету. Желтоватый отсвет упал на стены. Со стартовой площадки под воронкой клубами взлетела пыль, ее сменил сноп искр, и все звуки покрыл высокий протяжный гул. Ракета поднялась на трех языках пламени, которые сразу же слились в одну огненную колонну, и рванулась сквозь стартовую шахту. Заслонки тотчас же закрылись, автоматически включившиеся компрессоры начали продувать свежим воздухом помещение, в котором клубился едкий дым.

Всего этого я не замечал. Опершись руками о пульт, еще чувствуя на лице огонь, с обгоревшими волосами, я судорожно хватал ртом воздух, пропитанный гарью и характерным запахом ионизации. Хотя в момент старта я инстинктивно закрыл глаза, пламя все же ослепило меня. Некоторое время я видел только черные, красные и золотые круги. Понемногу это прошло. Дым и пыль уходили, втягивались в протяжно стонущие вентиляционные трубы.

Первое, что я увидел, был зеленый экран локатора. Я начал искать ракету. Когда я ее наконец поймал, она уже проскочила атмосферу. Еще никогда в жизни я не запускал ракет таким сумасшедшим способом, вслепую, не имея понятия, ни какое ей дать ускорение, ни вообще куда ее направить. Я подумал, что проще всего вывести ее на круговую орбиту вокруг Соляриса, на высоте порядка тысячи километров. Тогда я смогу выключить двигатели: они работали слишком долго, и я не был уверен, что в результате не произойдет катастрофы. Тысячекилометровая орбита была, как я убедился, проверив по таблице, стационарной. Правда, она тоже ничего не гарантировала, просто это был единственный выход из положения, который я видел.

У меня не хватило смелости включить репродуктор, который я выключил сразу же после старта. Я сделал бы все что угодно, лишь бы не услышать снова этот ужасный голос, в котором уже не осталось ничего человеческого. Все сомнения – это я мог себе сказать – были уничтожены, и сквозь мнимое лицо Хари начало проглядывать другое, настоящее, перед которым альтернатива помешательства действительно казалась освобождением.

Было около часа, когда я покинул ракетодром.

«Малый Апокриф»

Кожа на лице и руках у меня была обожжена. Я вспомнил, что когда искал снотворное для Хари (сейчас я бы посмеялся над своей наивностью, если бы только мог), то заметил в аптечке баночку мази от ожогов, и отправился к себе. Я открыл дверь и в красном свете заката увидел, что в кресле, где перед этим располагалась Хари, кто-то сидит. Страх парализовал меня, я рванулся назад, чтобы спастись бегством. Это продолжалось какую-то долю секунды. Сидящий поднял голову. Я узнал Снаута. Положив ногу на ногу, повернувшись ко мне спиной, он листал какие-то бумаги. Большая пачка их лежала рядом на столике. Заметив мое присутствие, Снаут отложил бумаги и некоторое время хмуро рассматривал меня поверх спущенных на кончик носа очков.

Я молча подошел к умывальнику, вынул из аптечки полужидкую мазь и начал смазывать ею наиболее обожженные места на лбу и щеках. К счастью, лицо не очень опухло. Несколько больших пузырей на виске и щеке я проткнул стерильной иглой для уколов и выдавил из них жидкость. Потом прилепил два куса влажной марли. Все это время Снаут внимательно следил за мной. Я не обращал на него внимания. Наконец я завершил эту процедуру – лицо у меня горело все сильнее – и уселся в другое кресло. Сначала мне пришлось снять с него платье Хари. Это было совсем обычное платье, если не считать отсутствующей застежки.

Снаут, сложив руки на остром колене, критически следил за моими действиями.

– Ну что, поговорим? – спросил он, подождав, пока я сяду. Я молчал, придерживая кусок марли, который начал сползать со щеки. – Были гости, а?

– Да, – ответил я тихо. У меня не было ни малейшего желания поддерживать такой тон.

– И тебе удалось от них избавиться? Ну-ну, здорово ты за это взялся.

Он дотронулся до своего шелушащегося лба, на котором уже показались розовые пятна молодой кожи. Я одурело смотрел на них. Почему до сих пор так называемый загар Снаута и Сарториуса не заставил меня задуматься? Я считал, что он от солнца, – а ведь на Солярисе никто не загорает.

– Но начал ты, конечно, скромно, – сказал Снаут, не обращая внимания на то, что я весь вспыхнул от осеневшей меня догадки. – Разные наркотики, яды, приемы вольной борьбы, а?

– Чего ты хочешь? Мы можем разговаривать на равных. Если ты собираешься паясничать, лучше уходи.

– Иногда приходится паясничать и не желая этого, – сказал он и поднял на меня прищуренные глаза. – Не будешь же ты меня убеждать, что не попробовал веревки или молотка? А чернильницей, случайно, не бросался, как Лютер? Нет? Э, – поморщился он, – да ты парень что надо. Даже умывальник цел. Голову разбить вообще не пробовал, в комнате полный порядок. Значит, раз-два – засадил, выстрелил, и готово? – Снаут взглянул на часы и подвел итог: – Каких-нибудь два, а может, и три часа у нас теперь есть.

Он посмотрел на меня с неприятной усмешкой и вдруг спросил:

– Так, по-твоему, я свинья?

– Законченная свинья, – подтвердил я резко.

– Да? А ты поверил бы мне, если бы я сказал? Поверил бы хоть одному слову?

Я молчал.

– С Гибаряном это случилось с первым, – продолжал он, все так же искусственно улыбаясь. – Он заперся в своей комнате и разговаривал только через дверь. А мы... догадываемся, что мы решили?

Я догадывался, но предпочел промолчать.

– Ну ясно. Решили, что он помешался. Кое-что он нам рассказал, но не все. Может быть, ты даже догадываешься, почему он скрывал, кто у него был? Ведь ты уже знаешь: *suum cuique*⁴. Но это был настоящий ученый. Он требовал, чтобы мы дали ему шанс.

– Какой шанс?

– Ну, я думаю, он пробовал это как-то классифицировать, как-то договориться, что-то решить. Известно тебе, что он делал? Наверное, известно?

– Расчеты, – сказал я. – В ящике. На радиостанции. Это он?

– Да. Но тогда я еще ничего не знал.

– Как долго это продолжалось?

– С неделю. Разговаривали через дверь. Но что там делалось... Мы думали, у него галлюцинации, моторное возбуждение. Я давал ему скополамин.

– Как... ему?

– Ну да. Он брал, но не для себя. Экспериментировал. Так все и шло.

– А вы?..

– Мы? На третий день решили добраться до него, выломать дверь, если не удастся иначе. Мы благородно решили его лечить.

– Ах... значит, поэтому! – вырвалось у меня.

– Да.

– И там... в том шкафу...

– Да, мой милый. Да. Он не знал, что в то время нас тоже навестили гости. Мы уже не могли им заниматься. Но он не знал об этом. Теперь... теперь это уже в определенном смысле норма...

Он произнес это так тихо, что последнее слово я скорее угадал, чем услышал.

– погоди, я не понимаю, – сказал я. – Как же так? Ведь вы должны были слышать. Ты сам сказал, что вы подслушивали. Вы должны были слышать два голоса, и, следовательно...

– Нет. Только его голос, а если там даже и были непонятные звуки, то сам понимаешь, что их мы тоже приписывали ему...

– Только его? Но... почему же?

– Не знаю. Правда, у меня на этот счет есть одна теория. Но, думаю, не следует с ней торопиться, тем более что всего она не объясняет. Вот так. Но ты должен был что-то увидеть еще вчера, иначе принял бы нас обоих за сумасшедших.

– Я думал, что сам свихнулся.

– Ах так? И никого не видел?

– Видел.

– Кого?

Его гримаса уже не походила на улыбку. Я долго смотрел на него, прежде чем ответить.

– Ту... черную...

Он ничего не сказал, но вся его скорчившаяся, подавшаяся вперед фигура немного обмякла.

– Мог все-таки меня предупредить, – начал я уже менее уверенно.

– Я ведь тебя предупредил.

– Но каким образом!

– Единственным возможным. Пойми, я не знал, кто это будет. Этого никто не знал, этого нельзя знать...

– Слушай, Снаут, я хочу тебя спросить. У тебя уже есть... некоторый опыт. Та... то... что с ней будет?

– Тебя интересует, вернется ли она?

⁴ Каждому свое (лат.).

– Да.

– Вернется и не вернется.

– Что это значит?

– Вернется такая же, как в начале... первого визита. Попросту не будет ничего знать, точнее, поведет себя так, будто всего, что ты сделал, чтобы от нее избавиться, никогда не было. Если ее не вынудит к этому ситуация, не будет агрессивной.

– Какая ситуация?

– Это зависит от обстоятельств...

– Снаут!

– Что тебя интересует?

– Мы не можем позволить роскошь таиться друг от друга.

– Это не роскошь, – прервал он сухо. – Кельвин, мне кажется, что ты все еще не понимаешь или... постой! – У него заблестели глаза. – Ты можешь рассказать, кто это был?

Я проглотил слюну и опустил голову. Мне не хотелось смотреть на него. Лучше бы это был кто-нибудь другой, не он. Но выбора не было. Кусок марли отклеился и упал мне на руку. Я вздрогнул от скользкого прикосновения.

– Женщина, которая... – Я не кончил. – Она убила себя. Сделала себе укол...

Снаут ждал.

– Самоубийство? – спросил он, видя, что я молчу.

– Да.

– Это все?

Я молчал.

– Не может быть, чтобы все...

Я быстро поднял голову. Он на меня не смотрел.

– Откуда ты знаешь?

Он не ответил.

– Хорошо, – сказал я, облизнув губы. – Мы поссорились. Собственно... Я ей сказал, знаешь, как говорят со зла... Забрал вещи и ушел. Она дала мне понять... не сказала прямо... но если с кем-нибудь прожил годы, то это и не нужно... Я был уверен, что это только слова... что она испугается и не сделает этого... так ей и сказал. На другой день я вспомнил, что оставил в шкафу... яды. Она знала о них. Они были мне нужны, я принес их из лаборатории и объяснил ей тогда, как они действуют. Я испугался и хотел пойти к ней, но потом подумал, что это будет выглядеть так, будто я принял ее слова всерьез, и... оставил все как было. На третий день я все-таки пошел, это не давало мне покоя. Но... когда пришел, она была уже мертвой.

– Ах ты, святая невинность...

Это меня взорвало. Но, посмотрев на Снаута, я понял, что он вовсе не издевается. Я как будто в первый раз увидел его. У него было серое лицо, в глубоких морщинах которого пряталась невыразимая усталость. Он выглядел как тяжело больной человек.

– Зачем ты так говоришь? – спросил я удивительно несмело.

– Потому что эта история трагична. Нет, нет, – добавил он быстро, уловив мое движение, – ты все еще не понимаешь. Конечно, ты можешь это очень тяжело переживать, даже считать себя убийцей, но... это не самое страшное.

– Что ты говоришь?! – заметил я язвительно.

– Утешаешься тем, что мне не веришь. То, что случилось, наверно, страшно, но еще страшнее то, что... не случилось. Никогда.

– Не понимаю, – проговорил я неуверенно. – Правда, ничего не понимаю.

Снаут кивнул.

– Нормальный человек... Что это такое – нормальный человек? Тот, кто никогда не сделал ничего мерзкого. Но наверняка ли он об этом никогда не думал? А может быть, даже не он подумал, а в нем что-то подумало, появилось десять или тридцать лет назад, может, защитился от этого, и забыл, и не боялся, так как знал, что никогда этого не осуществит. Ну а теперь вообрази себе, что неожиданно, среди бела дня, в окружении других людей встречаешь это, воплощенное в плоть и кровь, прикованное к тебе, неистребимое, что тогда? Что будет тогда?

Я молчал.

– Станция, – сказал он тихо. – Тогда будет станция Солярис.

– Но... что же это может быть? – спросил я нерешительно. – Ведь ни ты, ни Сарториус не преступники...

– Но ты же психолог, Кельвин! – прервал он нетерпеливо. – У кого не было когда-нибудь такого сна? Бреда? Подумай о... о фетишисте, который влюбился, ну, скажем, в грязный лоскут; который, рискуя шкурой, добывает мольбами и угрозами этот свой драгоценный омерзительный лоскут... Это, должно быть, забавно, а? Который одновременно стыдится предмета своего вожделения, и сходит по нему с ума, и готов отдать за него жизнь, поднявшись, быть может, до чувств Ромео к Джульетте. Такое бывает. Известно ведь, что существуют поступки... ситуации... такие, что никто не отважится их реализовать вне своего воображения... в какой-то один момент ошеломления, упадка, сумасшествия, называй это как хочешь. После чего слово становится делом. Это все.

– Это... все, – повторил я бессмысленно, деревянным голосом. В голове у меня шумело. – Но станция? При чем здесь станция?

– Ты что, притворяешься? – буркнул Снаут. Он смотрел на меня испытующе. – Ведь я все время говорю о Солярисе, только о Солярисе и ни о чем ином. Не моя вина, если это так сильно отличается от того, чего ты ожидал. Впрочем, ты пережил достаточно, чтобы по крайней мере выслушать меня до конца. Мы отправляемся в космос, приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не все, и наша готовность оказывается лишь позой. Мы вовсе не хотим завоевывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустынные, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не желаем покорять другие расы, стремимся только передать им наши ценности и взамен принять их наследие. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. Не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Хватит с нас одного этого, и он нас угнетает. Мы хотим найти собственный, идеализированный образ, это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наша. В других мы надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого. Между тем по ту сторону есть что-то, чего мы не принимаем, от чего защищаемся. А ведь мы принесли с Земли не только дистиллят добродетели, не только героический монумент Человека! Прилетели сюда такими, какие мы есть в действительности, и когда другая сторона показывает нам эту действительность – ту ее часть, которую мы замалчиваем, – не можем с этим примириться.

– Но что же это? – спросил я, терпеливо его выслушав.

– То, чего мы хотели: контакт с иной цивилизацией. Мы добились его, этого контакта. Увеличенная, как под микроскопом, наша собственная чудовищная безобразность. Наше шутовство и позор!!! – Его голос дрожал от ярости.

– Значит, ты считаешь, что это... океан? Что это он? Но зачем? Сейчас совсем не важен механизм, но для чего? Ты серьезно думаешь, что он хочет над нами позабавиться? Или наказать нас? Это ведь всего-навсего примитивная демонология. Планета, захваченная очень

большим дьяволом, который для удовлетворения своего дьявольского чувства юмора подсовывает членам научной экспедиции любовниц. Ты ведь сам не веришь в этот законченный идиотизм.

– Этот дьявол вовсе не так глуп, – пробурчал он сквозь зубы.

Я изумленно посмотрел на него. Мне пришло в голову, что в конце концов его нервы могли не выдержать, даже если всего, что происходило на станции, нельзя было объяснить сумасшествием. «Реактивный психоз?..» – мелькнула у меня мысль, когда он начал почти беззвучно смеяться.

– Ставишь мне диагноз? Не торопись. По сути дела, у тебя это было в такой безобидной форме, что ты просто еще ничего не знаешь!

– Ага. Дьявол сжалился надо мной, – бросил я. Разговор начал мне надоедать.

– Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я рассказал тебе, какие планы строят против нас икс-биллионов частиц метаморфной плазмы? Может быть, никаких.

– Как это никаких? – спросил я, ошеломленный.

Снаут опять усмехнулся.

– Ты должен знать, что наука занимается только тем, как что-то делается, а не тем, почему это делается. Как? Ну, началось это через восемь или девять дней после того эксперимента с рентгеном. Может быть, океан ответил на излучение каким-либо другим излучением, может быть, прозондировал наши мозги и извлек из них какие-то изолированные островки психики.

– Островки психики?

Это меня заинтересовало.

– Ну да, процессы, оторванные от всех остальных, замкнутые на себя, подавленные, приглушенные, какие-то воспаленные очажки памяти. Он воспринял их как рецепт, как план какой-то конструкции... Ты ведь знаешь, насколько похожи друг на друга асимметричные кристаллы хромосом и тех нуклеиновых соединений цереброцидов, которые составляют основу процессов запоминания... Ведь наследственная плазма – плазма «запоминающая». Таким образом, океан извлек это из нас, зафиксировал, а потом... ты знаешь, что было потом. Но для чего это было сделано? Ба! Во всяком случае, не для того, чтобы нас уничтожить. Это он мог сделать гораздо проще. Вообще – при такой технологической свободе – он может, собственно говоря, все. Например, засылать к нам двойников.

– А! – воскликнул я. – Вот почему ты так испугался в первый вечер, когда я пришел!

– Да. Возможно. А откуда ты знаешь, что я и вправду тот добрый старый Хорек, который прилетел сюда два года назад?

Снаут начал тихо смеяться, как будто мое состояние доставило ему Бог знает какое удовольствие, но сразу же перестал.

– Нет, нет, – буркнул он. – И без того достаточно... Может, различий и больше, но я знаю только одно: нас с тобой можно убить.

– А их нет?

– Не советую тебе пробовать. Жуткое зрелище!

– Ничем?

– Не знаю. Во всяком случае, ни ядом, ни ножом, ни веревкой...

– Атомной пушкой?

– Ты бы попробовал?

– Не знаю. Если есть уверенность, что это не люди...

– А если в некотором смысле да? Субъективно они люди. Они совершенно не отдают себе отчета в своем... происхождении. Ты, очевидно, это заметил?

– Да. Ну и... как это происходит?

– Регенерируют с необыкновенной скоростью. С невозможной скоростью, прямо на глазах, говорю тебе, и снова начинают поступать так... так...

– Как что?

– Как наше представление о них, те записи в памяти, по которым...

– Да. Это правда, – подтвердил я, не обращая внимания на то, что мазь стекает с моих обожженных щек и капает на руки. – А Гибарян знал?.. – спросил я быстро.

Он посмотрел на меня внимательно.

– Знал ли он то, что и мы?

– Да.

– Почти наверняка.

– Откуда ты знаешь, он что-нибудь говорил?

– Нет. Но я нашел у него одну книжку...

– «Малый Апокриф»?! – воскликнул я, вскакивая.

– Да. А откуда ты об этом можешь знать? – удивился он, с беспокойством впиваясь взглядом в мое лицо.

Я остановил его жестом.

– Спокойно. Видишь ведь, что я обожжен и совсем не регенерирую. Он оставил письмо для меня.

– Что ты говоришь? Письмо? Что в нем было?

– Немного. Собственно, не письмо, а записка. Библиографическая ссылка на Соляристическое приложение и на этот «Апокриф». Что это такое?

– Старое дело. Может, оно и имеет со всем этим что-то общее. Держи.

Он вынул из кармана переплетенный в кожу, вытертый на углах тонкий томик и подал мне.

– А Сарториус?.. – бросил я, пряча книжку.

– Что Сарториус? В подобной ситуации каждый держится как может. Он старается быть нормальным – у него это означает официальным.

– Ну знаешь!

– Это так. Я был с ним однажды в переплете... Не буду вдаваться в подробности, достаточно сказать, что на восьмерых у нас осталось пятьсот килограммов кислорода. И вот мы стали бросать повседневные дела, под конец все ходили бородатые, а он один брился, чистил ботинки... такой уж он человек. Естественно, то, что он сделает сейчас, будет притворством, комедией или преступлением.

– Преступлением?

– Хорошо, пусть не преступлением. Нужно придумать для этого какое-нибудь новое определение. Например, «реактивный развод». Лучше звучит?

– Ты чрезвычайно остроумен.

– А ты бы предпочел, чтобы я плакал? Предложи что-нибудь.

– А, оставь меня в покое.

– Нет, я говорю серьезно. Ты знаешь теперь примерно столько же, сколько и я. У тебя есть какой-то план?

– Да ты что?! Я представления не имею, как быть, когда... она снова появится. Должна явиться?

– Скорее всего да.

– Но как же они попадают внутрь? Ведь станция герметична. Может быть, панцирь...

– Панцирь в порядке. Понятия не имею как. Чаще всего мы видим гостей, когда просыпаемся, но спать-то хотя бы изредка надо.

Он встал. Я тоже.

– Послушай-ка, Снаут... Речь идет о ликвидации станции. И ты хочешь, чтобы инициатива исходила от меня?

Он покачал головой.

– Это не так просто. Конечно, мы всегда можем сбежать хотя бы на сателлоид и оттуда послать SOS. Решат, разумеется, что мы сошли с ума, – какой-нибудь санаторий на Земле, пока мы все хорошенько не забудем, – бывают же случаи коллективного помешательства на таких изолированных базах... Может быть, это было бы не самым плохим выходом... Сад, тишина, белые палаты, прогулки с санитарями...

Снаут говорил совершенно серьезно, держа руки в карманах, уставившись невидящим взглядом в угол комнаты. Красное солнце уже исчезло за горизонтом, и гривастые волны расплавились в черную пустыню. Небо пылало. Над этим двухцветным, необыкновенно унылым пейзажем плыли тучи с лиловыми кромками.

– Значит, хочешь сбежать? Или нет? Еще нет?

Он усмехнулся:

– Непреклонный покоритель... ты еще не испробовал этого, а то не был бы таким требовательным. Речь идет не о том, чего хочется, а о том, что возможно.

– Что?

– Вот этого-то я и не знаю.

– Значит, остаемся тут? Думаешь, найдется средство?..

Снаут посмотрел на меня, на его изнуренном, изрытом морщинами лице шелушилась кожа.

– Кто знает. Может, это окупится, – сказал он наконец. – О нем не узнаем, пожалуй, ничего, но, может быть, о себе...

Он отвернулся, взял свои бумаги и вышел. Делать мне было нечего, я мог только ждать. Я подошел к окну и смотрел на кроваво-черный океан, почти не видя его. Мне пришло в голову, что я мог бы закрыться в какой-нибудь из ракет, но я не думал об этом серьезно, это было чересчур глупо – раньше или позже мне пришлось бы выйти. Я сел у окна и вынул книжку, которую дал мне Снаут. Света было еще достаточно, страница порозовела, комната пылала багрянцем.

Это были собранные неким Оттоном Равинтцером, магистром философии, статьи и работы неоспоримой ценности. Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, ее дикое преломление в умах определенного типа; астрономия карикатурным образом отражается в астрологии, как химия – когда-то в алхимии; понятно, что рождение соляристики сопровождалось настоящим взрывом мыслей-монстров. Книга Равинтцера содержала духовную пищу именно этого рода; впрочем, нужно сказать честно, что в предисловии он отмежевывался от этого паноптикума. Просто он не без оснований считал, что такой сборник может быть ценным документом эпохи как для историка, так и для психолога науки.

Рапорт Бертон занимал в книге почетное место. Он состоял из нескольких частей. Первую составляла копия его бортового журнала, весьма лаконичного.

От четырнадцати до шестнадцати часов сорока минут условного времени экспедиции записи были короткими и негативными.

«Высота 1000, 1200 или 800 метров, ничего не замечено, океан пуст». Это повторялось несколько раз.

Потом в 16.40: «Поднимается красный туман. Видимость 700 метров. Океан пуст».

В 17.00: «Туман становится гуще, штиль, видимость 400 метров. Спускаюсь на 200».

В 17.20: «Я в тумане. Высота 200. Видимость 20–40 метров. Штиль. Поднимаюсь на 400».

В 17.45: «Высота 500. Лавина тумана до горизонта. В тумане воронкообразные отверстия, сквозь которые проглядывает поверхность океана. Пытаюсь войти в одну из этих воронок».

В 17.52: «Вижу что-то вроде водоворота – выбрасывает желтую пену. Окружен стеной тумана. Высота 100. Спускаюсь на 20».

На этом кончались записи в бортовом журнале Бертона. Дальнейшие страницы так называемого рапорта составляла выдержка из его истории болезни; точнее говоря, это был текст показаний, продиктованных Бертоном и прерывавшихся вопросами членов комиссии.

«Бертон. Когда я спустился до тридцати метров, стало трудно удерживать высоту, так как в этом круглом, свободном от тумана пространстве дул порывистый ветер. Я вынужден был все внимание сосредоточить на управлении и поэтому некоторое время, минут 10–15, не выглядывал из кабины. Из-за этого я против своего желания забрался в туман, меня бросил туда сильный порыв ветра. Это был не обычный туман, а как бы взвесь, по-моему, коллоидная, она залепила все стекла. Очистить их было очень трудно. Взвесь оказалась страшно липкой. Тем временем у меня процентов на тридцать упали обороты из-за сопротивления, которое оказывал винту этот туман, и я начал терять высоту. Я спустился очень низко и, боясь зацепиться за волны, дал полный газ. Машина держала высоту, но вверх не шла. У меня было еще четыре патрона ракетных ускорителей. Я не использовал их, решив, что положение может ухудшиться и тогда они мне понадобятся. При полных оборотах началась очень сильная вибрация; я понял, что винт облеплен этой странной взвесью; указатели подъемной силы по-прежнему были на нуле, и я ничего не мог с этим поделать. Солнца я не видел с того момента, когда вошел в туман, но в его направлении туман светился красным. Я все еще кружил, надеясь, что в конце концов сумею найти одно из свободных от тумана мест, и действительно, через каких-нибудь полчаса мне это удалось. Я выскочил в открытое пространство, нечто вроде цилиндра диаметром в несколько сот метров. Его границы образовывал стремительно клубящийся туман, как бы поднимаемый мощными конвекционными потоками. Поэтому я старался держаться как можно ближе к середине «дыры» – там воздух был наиболее спокойным. В это время я заметил перемену в состоянии поверхности океана. Волны почти полностью исчезли, а поверхностный слой этой жидкости – того, из чего состоит океан, – стал полупрозрачным с замутнениями, которые постепенно исчезали, так что через некоторое время все полностью очистилось, и я мог сквозь слой толщиной, наверно, в несколько метров смотреть вглубь. Там громоздился желтый ил, который тонкими полосами поднимался вверх и, всплывая на поверхность, стеклянно блестел, начинал бурлить и пениться, а потом застывал; тогда он был похож на очень густой пригоревший сахарный сироп. Этот ил, или слизь, собирался в большие комки, вздымался над поверхностью, образовывал бугры, похожие на цветную капусту, и постепенно формировал разнообразные фигуры. Меня начало затягивать к стене тумана, и поэтому мне пришлось несколько минут рулями и оборотами винта бороться с этим движением, а когда я снова смог смотреть вниз, увидел под собой нечто напоминавшее сад. Да, сад. Я видел карликовые деревья, и живые изгороди, и дорожки, не настоящие – все это было из той же самой субстанции, которая уже целиком затвердела, как желтоватый гипс. Поверхность сильно блестела. Я опустил низко как только смог, чтобы все тщательно рассмотреть.

Вопрос. У этих деревьев и других растений, которые ты видел, были листья?

Ответ Бертона. Нет. Просто это имело такой вид – как бы модель сада. Ну да. Модель. Так это выглядело. Модель, но, пожалуй, в натуральную величину. Потом все начало трескаться и ломаться, из расщелин, которые были совершенно черными, волнами выдавливался на поверхность густой ил и застывал, часть стекала, а часть оставалась, и все забурило еще сильнее, покрылось пеной, и ничего, кроме нее, я уже не видел. Одновременно туман начал стискивать меня со всех сторон, поэтому я увеличил обороты и поднялся на триста метров.

Вопрос. Ты совершенно уверен, что картина, которую ты наблюдал, напоминала сад, а не что другое?

Ответ Бертона. Да. Ведь я заметил там различные детали. Помню, например, такое: в одном месте стояли в ряд какие-то квадратные коробки. Позднее мне пришло в голову, что это могла быть пасека.

Вопрос. Это пришло тебе в голову потом? Но не в тот же момент?

Ответ Бертона. Нет, потому что все это было как бы из гипса. Я видел и другие вещи.

Вопрос. Какие вещи?

Ответ Бертона. Не могу сказать точно, я не успел их хорошенько рассмотреть. У меня было впечатление, что под некоторыми кустами лежали какие-то орудия. Они были продолговатой формы, с выступающими зубьями, как бы гипсовые отливки небольших садовых машин. Но в этом я полностью не уверен. А в остальном – да.

Вопрос. Ты не подумал, что это галлюцинация?

Ответ Бертона. Нет. Я решил, что это была фата-моргана. О галлюцинации я не думал, так как чувствовал себя совсем хорошо, а также потому, что никогда в жизни ничего подобного не видел. Когда я поднялся до трехсот метров, туман подо мной был испещрен дырками, совсем как сыр. Одни из этих дырок были пусты, и я видел в них, как волнуется океан, в других что-то клубилось. Я спустился в одно из таких отверстий и с высоты сорока метров увидел, что под поверхностью океана – но совсем неглубоко – лежит стена, как бы стена огромного здания: она четко просвечивала сквозь волны, и в ней были ряды регулярно расположенных прямоугольных отверстий, похожих на окна. Мне даже показалось, что в некоторых окнах что-то движется. Но в этом я не совсем уверен. Затем стена начала медленно подниматься и выступать из океана. По ней целыми водопадами стекал ил и какие-то слизистые образования, сгущения с прожилками. Вдруг она развалилась на две части и ушла в глубину так быстро, что мгновенно исчезла. Я снова поднял машину и летел над самым туманом, почти касаясь его своим шасси. Потом увидел следующую воронку. Она была, наверно, в несколько раз больше первой. Уже издали я заметил плавающий предмет. Он был светлым, почти белым, и мне показалось, что это скафандр Фехнера, тем более что по форме он напоминал человека. Я очень резко развернул машину – боялся, что могу проскочить это место и уже не найду его. В это время фигура слегка приподнялась, словно она плавала или же стояла по пояс в волне. Я спешил и спустился так низко, что почувствовал удар шасси обо что-то мягкое, возможно, о гребень волны – здесь она была порядочной. Человек, да, да, человек был без скафандра. Несмотря на это, он двигался.

Вопрос. Видел ли ты его лицо?

Ответ Бертона. Да.

Вопрос. Кто это был?

Ответ Бертона. Это был ребенок.

Вопрос. Какой ребенок? Ты раньше когда-нибудь видел его?

Ответ Бертона. Нет. Никогда. Во всяком случае, не помню этого. Как только я приблизился – меня отделяло от него метров сорок, может, немного больше, – я заметил, что с ним что-то не так.

Вопрос. Что ты под этим понимаешь?

Ответ Бертона. Сейчас скажу. Сначала я не знал, что это. Только немного погодя понял: он был необыкновенно большим. Гигантским – это еще слабо сказано. Он был, пожалуй, высотой метра четыре. Точно помню, что, когда я ударился шасси о волну, его лицо оказалось немного выше моего, хотя я сидел в кабине, то есть находился на высоте трех метров от поверхности океана.

Вопрос. Если он был таким большим, почему ты решил, что это ребенок?

Ответ Бертона. Это был очень маленький ребенок.

Вопрос. Твой ответ не кажется тебе нелогичным, Бертон?

Ответ Бертон. Нет. Совсем нет. Потому что я видел его лицо. Ну и, наконец, пропорции тела были детскими. Он показался мне... совсем младенцем. Нет, это преувеличение. Наверное, ему было два или три года. У него были черные волосы и голубые глаза, огромные! И он был голый. Совершенно голый, как новорожденный. Он был мокрый, вернее, скользкий, кожа у него блестела. Это зрелище подействовало на меня ужасно. Я уже не верил ни в какую фатаморгану. Я видел его слишком четко. Он поднимался и опускался на волне, но независимо от этого еще и двигался. Это было омерзительно!

Вопрос. Почему? Что он делал?

Ответ Бертон. Он выглядел... ну, как в каком-то музее, как кукла, но живая кукла. Открывал и закрывал рот и совершал разные движения. Омерзительно! Это были не его движения.

Вопрос. Как это понять?

Ответ Бертон. Я не очень-то приближался к нему. Пожалуй, двадцать метров – это наиболее точная оценка. Но я сказал уже, каким он был громадным, и благодаря этому я видел его чрезвычайно четко. Глаза у него блестели, и вообще он производил впечатление живого ребенка, только вот эти движения, как если бы кто-то пробовал... как будто кто-то его изучал...

Вопрос. Постарайся объяснить точнее, что это значит.

Ответ Бертон. Не знаю, удастся ли мне. У меня было такое впечатление. Это было интуитивно. Я не задумывался над этим. Его движения были неестественны.

Вопрос. Хочешь ли ты сказать, что, допустим, руки двигались так, как не могут двигаться человеческие руки из-за ограниченной подвижности в суставах?

Ответ Бертон. Нет. Совсем не то... Но... его движения не имели никакого смысла. Каждое движение в общем что-то значит, для чего-то служит...

Вопрос. Ты так считаешь? Движения младенца не должны что-либо значить.

Ответ Бертон. Это я знаю. Но движения младенца беспорядочные, нескоординированные. Обобщенные. А те были... есть, понял! Они были методичны. Они проделывались по очереди, группами, сериями. Как будто кто-то хотел выяснить, что этот ребенок в состоянии сделать руками, а что – торсом и ртом. Хуже всего было с лицом, наверно, потому, что лицо наиболее выразительно, а это было... Нет, не могу этого определить. Оно было живым, да, но не человеческим. Я хочу сказать, черты лица были в полном порядке, и глаза, и цвет, и все, но выражение, мимика – нет.

Вопрос. Были ли это гримасы? Ты знаешь, как выглядит лицо человека при эпилептическом припадке?

Ответ Бертон. Да. Я видел такой припадок. Понимаю. Нет, это было что-то другое. При эпилепсии бывают конвульсии, судороги, а это были движения совершенно плавные и непрерывные, ловкие, если так можно сказать, мелодичные. У меня нет другого определения. Ну и лицо. С лицом было то же самое. Лицо не может выглядеть так, чтобы одна половина была веселой, а другая – грустной, чтобы одна часть грозила или боялась, а другая – торжествовала или делала что-то в этом роде. Но с ребенком было именно так. Кроме того, все эти движения и мимическая игра происходили с необычайной быстротой. Я там был очень недолго. Может быть, десять секунд, а может, и меньше.

Вопрос. И ты всерьез утверждаешь, что все это успел заметить за такой короткий промежуток времени? Впрочем, откуда ты знаешь, как это долго продолжалось? Ты смотрел на часы?

Ответ Бертон. Нет. На часы я не смотрел. Но летаю уже шестнадцать лет. В моей профессии нужно уметь оценивать время с точностью до секунды. Это рефлекс. Пилот, который не может в любых условиях определить, длилось ли какое-то событие пять секунд или

десять, никогда не будет многого стоить. То же самое и с наблюдением. Человек с годами начинает схватывать все в самые короткие промежутки времени.

Вопрос. Больше ты ничего не видел?

Ответ Бертона. Видел. Но остальное я не помню так ясно. Возможно, доза оказалась для меня слишком большой. Мой мозг как бы закупорился. Туман начал затягивать дыру, и я вынужден был пойти вверх. Вынужден был, но не помню, как и когда это сделал. Первый раз в жизни я чуть не разбился. У меня так дрожали руки, что я не мог как следует удержать штурвал. Кажется, я что-то кричал и вызывал базу, хотя знал, что связи нет.

Вопрос. Пробовал ли ты тогда вернуться?

Ответ Бертона. Нет. Набрав высоту, я подумал, что, может быть, в какой-нибудь из этих дыр находится Фехнер. Я знаю, это звучит бессмысленно. Но я так думал. Раз уж происходят такие вещи, подумал я, то, может быть, и Фехнера удастся найти. Поэтому я решил влезать во все дыры, какие только замечу. Но на третий раз я увидел такое, что с трудом увел машину вверх, и понял, что все это мне не по силам. Я больше не мог. Я почувствовал слабость, и меня вырвало. Раньше я не знал, что это такое. Меня никогда не тошнило.

Вопрос. Это был признак отравления, Бертон?

Ответ Бертона. Возможно. Не знаю. Но того, что я увидел в третий раз, я не выдумал, этого не объяснить отравлением.

Вопрос. Откуда ты можешь об этом знать?

Ответ Бертона. Это было галлюцинацией. Галлюцинация – это ведь то, что создает мой собственный мозг, так?

Вопрос. Так.

Ответ Бертона. Ну вот. А ничего подобного мой мозг создать не мог. Никогда в это не поверю. Он на такое не способен.

Вопрос. Расскажи поточнее, что это было, хорошо?

Ответ Бертона. Сначала я должен узнать, как будет расценено то, что я уже рассказал.

Вопрос. Какое это имеет значение?

Ответ Бертона. Для меня – принципиальное. Я сказал, что увидел такое, чего никогда не забуду. Если комиссия решит, что рассказанное мной хотя бы на один процент правдоподобно и, следовательно, нужно начать соответствующее изучение этого океана, то скажу все. Но если комиссия сочтет, что это галлюцинации, не скажу ничего.

Вопрос. Почему?

Ответ Бертона. Потому что содержание моих галлюцинаций, каким бы оно ни было, – мое личное дело. Содержание же моих исследований на Солярисе – нет.

Вопрос. Значит ли это, что ты отказываешься от всяких дальнейших ответов до принятия решения компетентными органами экспедиции? Ты ведь должен понимать, что комиссия не уполномочена немедленно принимать решение.

Ответ Бертона. Да».

На этом кончался первый протокол. Был еще фрагмент другого, составленного на одиннадцать дней позднее.

«Председательствующий... Принимая все это во внимание, комиссия, состоящая из трех врачей, трех биологов, одного физика, одного инженера-механика и заместителя начальника экспедиции, пришла к убеждению, что сообщенные Бертоном сведения представляют собой содержание галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием отравления атмосферой планеты, с симптомами помрачения сознания, которым сопутствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что этим сведениям в действительности ничего или почти ничего не соответствует.

Бертон. Простите. Что значит «ничего или почти ничего»? Что это – «почти ничего»? Насколько оно велико?

Председательствующий. Я еще не кончил. Отдельно запротоколировано *votum separatum*⁵ доктора физики Арчибальда Мессенджера, который заявил, что рассказанное Бертоном могло, по его мнению, происходить в действительности и нуждается в добросовестном изучении. Это все.

Бертон. Я повторяю свой вопрос.

Председательствующий. Это очень просто. «Почти ничего» означает, что какие-то реальные явления могли вызвать твои галлюцинации, Бертон. Самый нормальный человек может во время ветреной погоды принять качающийся куст за какое-то существо. Что же говорить о чужой планете, да еще когда мозг наблюдателя находится под действием яда! В этом нет для тебя ничего оскорбительного. Каково же твое решение в связи с вышеуказанным?

Бертон. Мне бы хотелось сначала узнать, какие последствия будет иметь *votum separatum* доктора Мессенджера.

Председательствующий. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться не будут.

Бертон. Вносится ли в протокол то, что мы говорим?

Председательствующий. Да.

Бертон. В связи с этим я хотел бы сказать, что, по моему убеждению, комиссия проявила неуважение не ко мне, я здесь не в счет, а к самому духу экспедиции. В соответствии с моим первым заявлением на дальнейшие вопросы отвечать отказываюсь.

Председательствующий. Это все?

Бертон. Да. Но я хотел бы увидеться с доктором Мессенджером. Это возможно?

Председательствующий. Конечно».

На этом кончался второй протокол. Внизу страницы было помещено напечатанное мелким шрифтом примечание, сообщающее, что д-р Мессенджер на следующий день провел трехчасовую конфиденциальную беседу с Бертоном, после чего обратился в Совет экспедиции, снова настаивая на изучении показаний пилота.

Он утверждал, что за такое решение говорят новые, дополнительные данные, которые представил ему Бертон, но которые он сможет предъявить только после принятия советом положительного решения. Совет, в который входили Шеннон, Тимолис и Трахье, отнесся к этому предложению отрицательно, на том дело и кончилось.

В книге была еще фотокопия одной страницы письма, найденного в посмертных бумагах Мессенджера, вероятно, черновика; Равинтцеру не удалось выяснить, было ли послано это письмо и имело ли оно какие-нибудь последствия.

«...Ее невероятная тупость, – начинался текст. – Заботясь о своем авторитете, совет, а говоря конкретно, Шеннон и Тимолис (так как голос Трахье ничего не значит) отвергли мое требование. Сейчас я обращаюсь непосредственно в институт, но, сам понимаешь, это лишь протест бессильного. Связанный словом, я не могу, к сожалению, сообщить тебе того, что рассказал мне Бертон. На решение совета, очевидно, повлияло то, что с открытием к ним пришел человек без всякой ученой степени, хотя не один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту, его присутствию духа и таланту наблюдателя. Очень прошу тебя, пошли мне с обратной почтой след. данные:

1) биографию Фехнера, начиная с детства;

2) все, что тебе известно о его родственниках и родственных отношениях; по-видимому, он оставил сиротой маленького ребенка;

3) фотографию местности, где он воспитывался. Мне хотелось бы еще рассказать тебе, что я обо всем этом думаю. Как ты знаешь, через некоторое время после вылета Фехнера

⁵ Особое мнение (лат.).

и Каруччи в центре красного солнца образовалось пятно, которое своим корпускулярным излучением нарушило радиосвязь, главным образом, по данным сателлоида, в Южном полушарии, то есть там, где находилась наша база. Фехнер и Каруччи отделились от базы больше всех остальных исследовательских групп.

Такого густого и упорно держащегося тумана при полном штиле мы не наблюдали до дня катастрофы за все время пребывания на планете.

По моему мнению, то, что видел Бертон, было частью операции «Человек», проводившейся этим липким чудовищем. Истинным источником всех образований, замеченных Бертоном, был Фехнер – его мозг в ходе какого-то непонятного для нас «психического вскрытия»; речь шла об экспериментальном воспроизведении, о реконструкции некоторых (вероятно, наиболее устойчивых) следов его памяти.

Я знаю, что это звучит фантастично, знаю, что могу ошибиться. Прошу тебя мне помочь: я сейчас нахожусь на Аларике и здесь буду ожидать твоего ответа.

Твой А.»

Я читал с трудом, уже совсем стемнело, и книжка в моей руке стала серой. Наконец буквы начали сливаться, но пустая часть страницы свидетельствовала о том, что я дошел до конца этой истории, которая в свете моих собственных переживаний казалась весьма правдоподобной. Я повернулся к окну. Пространство за ним было темно-фиолетовым, над горизонтом еще тлели облака, похожие на угасающий уголь. Океан, окутанный тьмой, не был виден. Я слышал слабый шелест бумажных полосок над вентиляторами.

Нагретый воздух с легким запахом озона, казалось, загустел. Абсолютная тишина царила на станции. Я подумал, что в нашем решении остаться нет ничего героического. Эпоха героической борьбы, смелых экспедиций, ужасных смертей, таких хотя бы, как гибель первой жертвы океана, Фехнера, осталась далеко позади. Меня уже почти не интересовало, кто «гости» Снаута или Сарториуса. «Через некоторое время, – подумал я, – мы перестанем стыдиться друг друга и замыкаться в себе. Если мы не сможем избавиться от «гостей», то привыкнем к ним и будем жить с ними, а если их создатель изменит правила игры, мы приспособимся и к новым, хотя некоторое время будем мучиться, метаться, может быть, даже тот или другой покончит с собой, но в конце концов все снова придет в равновесие».

Комнату поглотила темнота, сейчас очень похожая на земную. Только контуры умывальника и зеркала белели во мраке. Я встал, на ощупь нашел клочок ваты на полке, обтер влажным тампоном лицо и лег навзничь на кровать. Где-то надо мной, похожий на трепетание бабочки, поднимался и пропадал шелест у вентилятора. Я не видел даже окна, все скрыл мрак, полоска неведомо откуда идущего тусклого света висела передо мной, я не знаю даже, на стене или в глубине пустыни, там, за окном. Я вспомнил, как ужаснул меня в прошлый раз пустой взор соляристического пространства, и почти улыбнулся. Я не боялся его. Ничего не боялся. Я поднес к глазам руку. Фосфоресцирующим веночком цифр светился циферблат часов. Через час должно было взойти голубое солнце. Я наслаждался темнотой и глубоко дышал, пустой, свободный от всяких мыслей.

Пошевелившись, я почувствовал прижатую к бедру плоскую коробку магнитофона. Да. Гибарян. Его голос, сохранившийся на пленке. Мне даже в голову не пришло воскресить его, послушать. Это было все, что я мог для него сделать.

Я взял магнитофон, чтобы спрятать его под кровать, и, услышал шелест и слабый скрип открывающейся двери.

– Крис?... – донесся до меня тихий голос, почти шепот. – Ты здесь, Крис? Так темно.

– Это ничего, – сказал я. – Не бойся. Иди сюда.

Совещание

Я лежал на спине, без единой мысли. Темнота, наполняющая комнату, сгущалась. Я слышал шаги. Стены пропадали. Что-то возносилось надо мной все выше, безгранично высоко. Я застыл, пронизанный тьмой, объятый ею. Я чувствовал ее упругую прозрачность. Где-то очень далеко билось сердце. Я сосредоточил все внимание, остатки сил на ожидании агонии. Она не приходила. Я только становился все меньше, а невидимое небо, невидимые горизонты, пространство, лишенное форм, туч, звезд, отступая и увеличиваясь, делало меня своим центром. Я силился втиснуться в то, на чем лежал, но подо мной уже не было ничего, и мрак ничего уже не скрывал. Я стиснул руки, закрыл ими лицо. Оно исчезло. Руки прошли насквозь. Хотелось кричать, выть...

Комната была серо-голубой. Мебель, полки, углы стен – все как бы нарисованное широкими матовыми мазками, все бесцветно – одни только контуры. Прозрачная жемчужная белизна за окном. Я был совершенно мокрый от пота. Я взглянул в ее сторону – она смотрела на меня.

– У тебя затекла рука?

– Что?

Она подняла голову. Ее глаза были того же цвета, что и комната, серые, сияющие, окаймленные черными ресницами. Я почувствовал тепло ее шепота, прежде чем понял слова.

– Нет. А, да.

Я обнял ее за плечо. От этого прикосновения по руке побежали мурашки. Я медленно обнял ее другой рукой.

– Ты видел плохой сон?

– Сон? Да, сон. А ты не спала?

– Не знаю. Может, и нет. Мне не хочется спать. Но ты спи. Почему ты так смотришь?

Я прикрыл глаза. Ее сердце билось рядом с моим, четко и ритмично. «Бутафория», – подумал я. Но меня ничто не удивляло, даже собственное безразличие. Страх и отчаяние были уже позади. Я дотронулся губами до ее шеи, потом поцеловал маленькое, гладкое, как внутренность ракушки, углубление у горла. И тут бился пульс.

Я поднялся на локте. Никакой зари, никакой мягкости рассвета, горизонт обнимало голубое электрическое зарево, первый луч пронзил комнату, как стрела, все заиграло отблесками, радужные огни изламывались в зеркале, в дверных ручках, в никелированных трубках; казалось, что свет ударяет в каждый встреченный предмет, как будто хочет освободиться, взорвать тесное помещение. Уже невозможно было смотреть. Я отвернулся. Зрачки Хари стали совсем маленькими.

– Разве уже день? – спросила она приглушенным голосом.

Это был полусон, полуявь.

– Здесь всегда так, дорогая.

– А мы?

– Что мы?

– Долго здесь будем?

Мне хотелось смеяться. Но когда глухой звук вырвался из моей груди, он не был похож на смех.

– Думаю, достаточно долго. Ты против?

Ее веки дрожали. Хари внимательно смотрела на меня. Кажется, она подмигнула, а может быть, мне это только показалось. Потом подтянула одеяло: на ее плече розовела маленькая треугольная родинка.

– Почему ты так смотришь?

– Ты очень красивая.

Она улыбнулась. Но это была только вежливость, благодарность за комплимент.

– Правда? Ты смотришь, как будто... как будто...

– Что?

– Как будто что-то ищешь.

– Не выдумывай.

– Нет, как будто думаешь, что со мной что-то случилось или я не рассказала тебе чего-то.

– Откуда ты это взяла?

– Раз уж ты отпираешься, значит, наверняка. Ладно, как хочешь.

За пламенеющими окнами родился мертвый голубой зной. Заслонив рукой глаза, я искал очки. Они лежали на столе. Я присел на постели, надел их и увидел ее отражение в зеркале. Хари чего-то ждала. Когда я снова улегся рядом с ней, она усмехнулась.

– А мне?

Я вдруг сообразил:

– Очки?

Я встал и начал рыться в ящиках, на столе, под окном. Нашел две пары, правда, обе слишком большие, и подал ей. Она примерила те и другие. Они сползли у нее на кончик носа.

В этот момент заскрежетали заслонки. Мгновение, и внутри станции, которая, как черепаха, спряталась в своей скорлупе, наступила ночь. На ощупь я снял с нее очки и вместе со своими положил под кровать.

– Что будем делать? – спросила она.

– То, что полагается, – спать.

– Крис.

– Что?

– Может, поставить тебе новый компресс?

– Нет, не нужно. Не нужно... дорогая.

Я сказал это, сам не понимая, притворяюсь я или нет, но вдруг обнял в темноте ее тонкие плечи и, чувствуя их дрожь, поверил в нее. Хотя... не знаю. Мне вдруг показалось, что это я обманываю ее, а не она меня, что она настоящая.

Я засыпал потом еще несколько раз, и все время меня вырывали из дремы судороги, бешено колотящееся сердце медленно успокаивалось, я прижимал ее к себе, смертельно усталый, она заботливо дотрагивалась до моего лица, лба, очень осторожно проверяя, нет ли у меня жара. Это была Хари. Самая настоящая. Другой быть не могло.

От этой мысли что-то во мне изменилось. Я перестал бороться и почти сразу же заснул.

Разбудило меня легкое прикосновение. Лоб был охвачен приятным холодом. На лице тоже лежало что-то влажное и мягкое. Потом это медленно поднялось, и я увидел склонившуюся надо мной Хари. Обеими руками она выжимала марлю над фарфоровой мисочкой. Сбоку стояла бутылка с жидкостью от ожогов. Она улыбнулась мне.

– Ну и спишь же ты, – сказала она, снова положив марлю мне на лоб. – Болит?

– Нет.

Я пошевелил кожей лба. Действительно, ожоги сейчас совершенно не чувствовались.

Хари сидела на краю постели, закутавшись в мужской купальный халат, белый в оранжевые полосы, ее черные волосы рассыпались по воротнику. Рукава она подвернула до локтей, чтоб они не мешали.

Я был дьявольски голоден, прошло уже часов двадцать, как у меня ничего не было во рту. Когда Хари сняла компресс, я встал. Вдруг мой взгляд упал на два лежащих рядом оди-

наковых белых платья с красными пуговицами – первое, которое я помог ей снять, разрезав ворот, и второе, в котором она пришла вчера. На этот раз она сама распоролла шов ножницами. Сказала, что, наверное, замок заело.

Эти два одинаковых платяща были самым страшным из всего, что я до сих пор пережил. Хари возилась у шкафчика с лекарствами, наводя в нем порядок. Я украдкой отвернулся от нее и до крови укусил себе руку. Все еще глядя на эти два платяща, вернее, на одно и то же, повторенное два раза, я начал пятиться к двери. Вода по-прежнему с шумом текла из крана. Я отворил дверь, тихо выскользнул в коридор и осторожно ее закрыл.

Из комнаты доносился слабый шум воды, звяканье бутылок. Вдруг эти звуки прекратились. В коридоре горели длинные потолочные лампы, неясное пятно отраженного света лежало на поверхности двери. Я стиснул зубы и ждал, вцепившись в ручку, хотя не надеялся, что сумею ее удержать. Резкий рывок чуть не выдернул ее у меня из рук, но дверь не отворилась, только задрожала и начала ужасно трещать. Ошеломленный, я выпустил ручку и отступил. С дверью происходило что-то невероятное: ее гладкая пластмассовая поверхность изогнулась, как будто вдавленная с моей стороны внутрь, в комнату. Покрытие откалывалось мелкими кусочками, обнажая сталь косяка, который напрягался все сильнее. Вдруг я понял: вместо того чтобы толкнуть дверь, которая открывалась в коридор, она силилась отворить ее на себя. Отблеск света искривился на белой поверхности, как в вогнутом зеркале, раздался громкий хруст, и монолитная, до предела выгнутая плита треснула. Одновременно ручка, вырванная из гнезда, влетела в комнату. Сразу в отверстии показались окровавленные руки и, оставляя красные следы на пластике, продолжали тянуть, дверь сломалась пополам, косо повисла на петлях, и оранжево-белое существо с посиневшим мертвым лицом бросилось мне на грудь, заходясь от слез.

Если бы это зрелище не парализовало меня, я бы попытался убежать. Хари судорожно хватала воздух и билась головой о мое плечо, а потом стала медленно оседать на пол. Я подхватил ее, отнес в комнату, протиснувшись мимо расколотой дверной створки, и положил на кровать. Из-под ее сломанных ногтей сочилась кровь. Когда она повернула руку, я увидел содранную до мяса ладонь. Я взглянул ей в лицо: открытые глаза смотрели сквозь меня без всякого выражения.

– Хари!

Она ответила невнятным бормотанием.

Я приблизил палец к ее глазу. Веко опустилось. Я подошел к шкафу с лекарствами. Кровать скрипнула. Я обернулся. Она сидела выпрямившись, со страхом глядя на свои окровавленные руки.

– Крис, – простонала она, – я... я... что со мной?

– Поранилась, выламывая дверь, – сказал я сухо.

У меня что-то случилось с губами, особенно с нижней, по ней словно мурашки бегали. Пришлось ее прикусить.

Хари с минуту разглядывала свисающие с косяка зазубренные куски пластмассы, затем посмотрела на меня. Подбородок у нее задрожал, я видел, каким усилием она пыталась победить страх.

Я отрезал кусок марли, вынул из шкафа присыпку на рану и возвратился к кровати. Все, что я нес, вывалилось из моих внезапно ослабевших рук, стеклянная баночка с коллодием разбилась, но я даже не наклонился. Лекарства были уже не нужны.

Я поднял ее руку. Засохшая кровь еще окружала ногти тонкой каемкой, но все раны уже исчезли, а ладони затягивала молодая розовая кожа. Шрамы бледнели просто на глазах.

Я сел, погладил ее по лицу и попытался ей улыбнуться. Не могу сказать, что мне это удалось.

– Зачем ты это сделала, Хари?

– Нет. Это... я?

Она показала глазами на дверь.

– Да. Не помнишь?

– Нет. Я увидела, что тебя нет, страшно перепугалась и...

– И что?

– Начала тебя искать, подумала, что ты, может быть, в ванной...

Только теперь я увидел, что шкаф сдвинут в сторону и открывает вход в ванную.

– А потом?

– Побежала к двери.

– Ну и?..

– Не помню. Что-то должно было случиться...

– Что?

– Не знаю.

– А что ты помнишь? Что было потом?

– Сидела здесь, на кровати.

– А как я тебя принес, не помнишь?

Она колебалась. Уголки губ опустились вниз, лицо напряглось.

– Мне кажется... Может быть... Сама не знаю.

Она опустила ноги на пол и встала. Подошла к разбитой двери.

– Крис!

Я взял ее сзади за плечи. Она дрожала. Вдруг она быстро обернулась и заглянула в мои глаза.

– Крис, – шептала она. – Крис.

– Успокойся.

– Крис, а если... Крис, может быть, у меня эпилепсия?

Эпилепсия, боже милостивый! Мне хотелось смеяться.

– Ну что ты, дорогая. Просто двери, понимаешь, тут такие, ну, такие двери...

Мы покинули комнату, когда с протяжным скрежетом открылись наружные заслонки, показав проваливающийся в океан солнечный диск, и направились в небольшую кухоньку в противоположном конце коридора. Мы хозяйничали вместе с Хари, перетряхивая содержимое шкафчиков и холодильников. Я быстро заметил, что она не слишком утруждала себя стряпней и умела немногим больше, чем открывать консервные банки, то есть столько же, сколько я. Я проглотил содержимое двух таких банок и выпил бесчисленное количество чашек кофе. Хари тоже ела, но так, как иногда едят дети, не желая делать неприятное взрослым, даже без принуждения, но механически и безразлично.

Потом мы пошли в маленькую операционную рядом с радиостанцией. У меня был один план. Я сказал Хари, что хочу на всякий случай ее осмотреть, уселся на раскладное кресло и достал из стерилизатора шприц и иглу. Я знал, где что находится, почти на память, так нас вымуштровали на Земле. Взял каплю крови из ее пальца, сделал мазок, высушил в испарителе и в высоком вакууме распылил на нем ионы серебра.

Вещественность этой работы действовала успокаивающе. Хари, отдыхая на подушках разложенного кресла, оглядывала заставленную приборами операционную.

Тишину нарушил прерывистый зуммер внутреннего телефона. Я поднял трубку.

– Кельвин, – сказал я, не спуская глаз с Хари, которая с какого-то момента впала в апатию, как будто изнуренная переживаниями последних часов.

– Ты в операционной? Наконец-то! – услышал я вздох облегчения.

Говорил Снаут. Я ждал, прижав трубку к уху.

– У тебя гость, а?

– Да.

– И ты занят?

– Да.

– Небольшое исследование, гм?

– А что? Хочешь сыграть партию в шахматы?

– Перестань, Кельвин. Сарториус хочет с тобой увидеться. Я имею в виду – с нами.

– Вот это новость! – Я был поражен. – А что с... – Я остановился и закончил: – Ты один?

– Нет. Я неточно выразился. Он хочет поговорить с нами. Мы соединимся втроем по видеофону, только заслони экран.

– Ах так! Почему же он просто мне не позвонил? Стесняется?

– Что-то в этом роде, – невнятно буркнул Снаут. – Ну так как?

– Как договоримся? Скажем, через час. Хорошо?

– Хорошо.

Потом Снаут нерешительно спросил:

– Ну, как ты?

– Сносно. А ты как?

– Думаю, немного хуже, чем ты. Ты не мог бы...

– Хочешь прийти ко мне? – догадался я. Посмотрел через плечо на Хари. Она склонила голову на подушку и лежала, закинув ногу на ногу, с безотчетной скукой подбрасывая серебристый шарик, которым оканчивалась цепочка у ручки кресла.

– Оставь это, слышишь? Оставь, ты! – донесся до меня громкий голос Снаута.

Я увидел на экране его профиль. Остального я не слышал – он закрыл рукой микрофон, – но видел его шевелящиеся губы.

– Нет, не могу прийти. Может, потом. Итак, через час, – быстро проговорил он, и экран погас.

Я повесил трубку.

– Кто это был? – равнодушно спросила Хари.

– Да тут один... Снаут. Кибернетик. Ты его не знаешь.

– Долго еще?

– А что, тебе скучно? – спросил я.

Я вложил первый из серии препаратов в кассету нейтринного микроскопа и по очереди нажал цветные кнопки выключателей. Глухо загудели силовые поля.

– Развлечений тут не слишком много, и, если моего скромного общества тебе окажется недостаточно, будет плохо, – говорил я рассеянно, делая большие паузы между словами, одновременно стискивая обеими руками большую черную головку, в которой блестел окуляр микроскопа, и вдавливая глаз в мягкую резиновую раковину. Хари сказала что-то, что до меня не дошло. Я видел как будто с большой высоты огромную пустыню, залитую серебряным блеском. На ней лежали покрытые легкой дымкой, словно потрескавшиеся и выветрившиеся плоские скалистые холмики. Это были красные тельца. Я сделал изображение резким и, не отрывая глаз от окуляров, все глубже погружался в пылающее серебро. Одновременно левой рукой вращал регулировочную ручку столика и, когда лежавший одиноко, как валун, шарик оказался в перекрестье черных нитей, прибавил увеличение. Объектив как бы наезжал на деформированный, с провалившейся серединой, эритроцит, который казался уже кружочком скального кратера с черными резкими тенями в разрывах кольцевой кромки. Потом кромка, ошетилившаяся кристаллическим налетом ионов серебра, ушла за границу поля микроскопа. Появились мутные просвечивающие сквозь опалесцирующую воду контуры наполовину расплавленных, покоробленных цепочек белка. Поймав в черное перекрестье одно из уплотнений белковых обломков, я слегка подтолкнул рычаг увеличения, потом еще; вот-вот должен был показаться конец этой дороги вглубь, приплюснутая тень одной молекулы заполнила весь окуляр, изображение прояснилось – сейчас!

Но ничего не произошло. Я должен был увидеть дрожащие пятнышки атомов, похожие на колышущийся студень, но их не было. Экран пылал девственным серебром. Я толкнул рычаг до упора. Гудение усилилось, стало гневным, но я ничего не видел. Повторяющийся звонкий сигнал давал мне знать, что аппаратура перегружена. Я еще раз взглянул в серебряную пустоту и выключил ток. Взглянул на Хари. Она как раз открыла рот, чтоб зевнуть, но ловко заменила зевок улыбкой.

– Ну, как там со мной? – спросила она.

– Очень хорошо, – ответил я. – Думаю, что лучше быть не может.

Я все смотрел на нее, снова чувствуя эти проклятые мурашки в нижней губе. Что же произошло? Что это значило? Это тело с виду такое слабое и хрупкое – а в сущности неистребимое – в основе своей оказалось состоящим... из ничего? Я ударил кулаком по цилиндрическому корпусу микроскопа. Может быть, какая-нибудь неисправность? Может быть, не фокусируются поля?.. Нет, я знал, что аппаратура в порядке. Я спустился по всем ступенькам: клетки, белковый конгломерат, молекулы – все выглядело точно так же, как в тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз никуда не вел.

Я взял у нее кровь из вены, перелил в мерный цилиндр, разделил на порции и приступил к анализу. Он занял у меня больше времени, чем я предполагал, я немного утратил навык. Реакции были в норме. Все. Хотя, пожалуй...

Я выпустил каплю концентрированной кислоты на красную бусинку. Капля задымилась, посерела, покрылась налетом грязной пены. Разложение. Денатурация. Дальше, дальше! Я потянулся за пробиркой. Когда я снова взглянул на каплю, тонкое стекло чуть не выпало у меня из рук.

Под слоем грязной накипи, на самом дне пробирки снова нарастала темно-красная масса. Кровь, сожженная кислотой, восстанавливалась! Это была бессмыслица. Это было невозможно!

– Крис! – услышал я откуда-то очень издалека. – Телефон, Крис.

– Что? Ах да, спасибо.

Телефон звонил уже давно, но я только теперь его услышал. Я поднял трубку.

– Кельвин.

– Снаут. Я включил линию, так что мы можем говорить все трое одновременно.

– Приветствую вас, доктор Кельвин, – раздался высокий гнусавый голос Сарториуса.

Он звучал так, как будто его владелец вступал на опасно прогибающиеся подмости – подозрительный, бдительный и внешне спокойный.

– Мое почтение, доктор, – ответил я.

Мне хотелось смеяться, но я не был уверен, что причины этой веселости достаточно ясны для того, чтобы я мог себе ее позволить. В конце концов над чем было смеяться? Я что-то держал в руке: пробирку с кровью. Встряхнул ее. Кровь уже свернулась. Может быть, все, что было перед этим, только галлюцинация? Может быть, мне только показалось?

– Мне хотелось сообщить коллегам некоторые соображения, связанные с... э... фантомами... – Я одновременно слышал и не слышал Сарториуса. Он как бы ломился в мое сознание. Я защищался от этого голоса, все еще уставившись на пробирку с загустевшей кровью.

– Назовем их существами Ф, – быстро подсказал Снаут.

– А, превосходно.

Посередине экрана темнела вертикальная линия, показывающая, что я одновременно принимаю два канала; по обе стороны от нее должны были находиться лица моих собеседников. Стекло было темным, и только узкий ободок света вдоль рамки свидетельствовал о том, что аппаратура действует, но экраны чем-то заслонены.

– Каждый из нас проводил разнообразные исследования... – Снова та же осторожность в гнусавом голосе говорящего. Минута тишины. – Предлагаю сначала обменяться сведениями

ями, а затем я мог бы сообщить то, что установил лично. Может быть, вы начнете, доктор Кельвин?..

– Я?

Вдруг я почувствовал взгляд Хари. Я небрежно положил пробирку на стол, так что она тут же закатилась под штатив со стеклом, и уселся на высокий треножник, рывком пододвинув его к себе ногой. В первый момент я хотел было отказаться, но неожиданно для самого себя ответил:

– Хорошо. Небольшое собеседование? Отлично! Я сделал совсем мало, но могу сказать. Один гистологический препарат и парочка реакций. Микрореакций. У меня сложилось впечатление, что...

До этого момента я понятия не имел, что говорить. Внезапно меня прорвало:

– Все в норме, но это камуфляж. Маска. Это в некотором смысле суперкопия: воспроизведение более тщательное, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы находим конец зернистости, конец структурной делимости, здесь дорога ведет дальше благодаря применению субатомной структуры.

– Сейчас. Сейчас. Как вы это понимаете? – спросил Сарториус.

Снаут не подавал голоса. А может быть, это его учащенное дыхание раздавалось в трубке? Хари посмотрела в мою сторону. Я понял, что в возбуждении последние слова почти выкрикнул. Придя в себя, я сгорбился на своем неудобном табурете и закрыл глаза. Как лучше объяснить?

– Последним элементом конструкции наших тел являются атомы. Предполагаю, что существа Ф построены из частиц меньших, чем обычные атомы. Гораздо меньших.

– Из мезонов? – подсказал Сарториус. Он вовсе не удивился.

– Нет, не из мезонов... Мезоны удалось бы обнаружить. Разрешающая способность этой аппаратуры здесь у меня, внизу, достигает десяти в минус двадцатой ангстрем. Верно? Но ничего не видно даже при максимальном усилении. Следовательно, это не мезоны. Пожалуй, скорее нейтрино.

– Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные системы нестабильны...

– Не знаю. Я не физик. Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле. Я в этом не разбираюсь. Во всяком случае, если все так, как я говорю, то структуру составляют частицы примерно в десять тысяч раз меньшие, чем атомы. Но это не все! Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из этих «микроатомов», тогда бы они должны были быть соответственно меньше. И кровяные тельца тоже, и ферменты, но ничего подобного нет. Из этого следует, что все белки, клетки, ядра клеток только маска! Действительная структура, ответственная за функционирование «гостя», кроется гораздо глубже.

– Кельвин! – почти крикнул Снаут.

Я в ужасе остановился. Сказал «гостя»? Да, но Хари не слышала этого. Впрочем, она все равно бы не поняла. Она смотрела в окно, подперев голову рукой, ее тонкий чистый профиль вырисовывался на фоне пурпурной зари. Трубка молчала. Я слышал только далекое дыхание.

– Что-то в этом есть, – буркнул Снаут.

– Да, возможно, – добавил Сарториус. – Только здесь возникает одно препятствие – океан не состоит из этих гипотетических частиц Кельвина. Он состоит из обычных.

– Но может быть, он в состоянии их синтезировать, – заметил я.

Я почувствовал неожиданную апатию. Этот разговор не был даже смешон. Он был не нужен.

– Но это объяснило бы необыкновенную сопротивляемость, – пробурчал Снаут. – И темп регенерации. Может быть, даже источник энергии находится там, в глубине, им ведь есть не нужно...

– Прошу слова, – отозвался Сарториус.

Он был невыносим! Если бы он по крайней мере не выходил из своей выдуманной роли!

– Я хочу поговорить о мотивировке. Мотивировке появления существ Ф. Я задался бы вопросом: чем являются существа Ф? Это не человек и не копия определенного человека, а лишь материализованные проекции того, что относительно данного человека содержит наш мозг.

Четкость его определения поразила меня. Этот Сарториус, несмотря на мою к нему антипатию, не был, однако, глуп.

– Это верно, – вставил я. – Это объясняет даже, почему появились лю... существа такие, а не иные. Были выбраны самые прочные следы памяти, наиболее изолированные от всех других, хотя, естественно, ни один такой след не может быть полностью обособлен, и в ходе его «копирования» были или могли быть захвачены остатки других следов, случайно находящихся рядом, вследствие чего пришелец выказывает бо́льшие познания, чем могла обладать особа, повторением которой должен быть...

– Кельвин! – снова воскликнул Снаут.

Меня поразило, что только он реагировал на мои неосторожные слова. Сарториус, казалось, не опасался их. Значило ли это, что его «гость» от природы менее сообразителен, чем «гость» Снаута? На секунду родился образ какого-то крестина-карлика, который живет рядом с ученым доктором Сарториусом.

– Да, да. Мы тоже заметили, – заговорил он в этот момент. – Теперь что касается мотивировки появления существ Ф... Первой как-то сама собой появилась мысль о проводимом на нас эксперименте. Однако это был бы эксперимент, пожалуй, скверный. Если мы проводим исследование, то учимся на результатах, прежде всего на ошибках, так что, повторяя его, вводим поправки. Здесь же об этом нет и речи. Те же существа появляются снова... не скорректированные... не защищенные дополнительно против наших... попыток избавиться от них...

– Одним словом, здесь нет функциональной петли с корректирующей обратной связью, как определил бы это доктор Снаут, – заметил я. – И что отсюда следует?

– Только то, что для эксперимента это был бы... брак, в любом другом отношении неправдоподобный. Океан... очень точен. Это проявляется хотя бы в двухслойной конструкции существ Ф. До определенной границы они ведут себя так, как действительно вели бы себя... поступали бы... настоящие...

Он не мог выкарабкаться.

– Оригиналы, – быстро подсказал Снаут.

– Да, оригиналы. Но когда ситуация становится слишком сложной для возможностей среднего... э... оригинала, наступает как бы «выключение сознания» существа Ф, и оно начинает действовать иначе, не по-человечески...

– Все верно, – сказал я, – но таким путем мы только перечисляем разновидности поведения этих... этих существ, и ничего больше. Это совершенно бесплодно.

– Я в этом не уверен, – протестовал Сарториус.

Внезапно я понял, чем он меня так раздражал: он не разговаривал, а выступал, совершенно так же, как на заседаниях в институте. Видно, иначе он не умел.

– Тут включается в игру вопрос индивидуальности. Океан полностью лишен такого понятия. Так должно быть. Мне кажется, прошу прощения, коллеги, что эта для нас... э... наиболее шокирующая сторона эксперимента целиком ускользает от него, как находящаяся за границей его понимания.

– Вы считаете, что это не преднамеренно? – спросил я. Это утверждение немного ошеломило меня, но, поразмыслив, я признал, что исключить его невозможно.

– Да. Я не верю ни в какое вероломство, злорадство, желание уязвить наиболее чувствительным образом... как это делает коллега Снаут.

– Я вовсе не приписываю ему человеческих ощущений, чувств, – первый раз взял слово Снаут. – Но, может, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения.

– Возможно, включена какая-нибудь установка, которая повторяет один и тот же цикл, как граммофонная пластинка, – сказал я, не без скрытого желания досадить Сарториусу.

– Прошу вас, коллеги, не разбрасываться, – объявил гнусавым голосом доктор. – Это еще не все, что я хотел сообщить. В нормальных условиях я считал бы, что выступать даже с предварительным сообщением о состоянии моих работ преждевременно, но, принимая во внимание специфичную ситуацию, я сделаю исключение. У меня сложилось впечатление, что в предположении доктора Кельвина кроется истина. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной конструкции... Такие системы мы знаем только теоретически и не предполагали, что их можно стабилизировать. Здесь появляется определенный шанс, ибо уничтожение того силового поля, которое придает системе устойчивость...

Немного раньше я заметил, что темный предмет, который заслонял экран на стороне Сарториуса, отодвигается; у самого верха образовалась щель, в которой шевелилось что-то розовое. Теперь темная пластина внезапно упала.

– Прочь! Прочь! – раздался в трубке душераздирающий крик Сарториуса. На осветившемся экране, между борющимися с чем-то руками доктора, заблестел большой золотистый, похожий на диск предмет, и все погасло, прежде чем я успел понять, что этот золотой диск не что иное, как соломенная шляпа...

– Снаут? – позвал я, глубоко вздохнув.

– Да, Кельвин, – ответил мне усталый голос кибернетика.

В этот момент я понял, что он мне симпатичен. И мне совсем не хотелось знать, кто у него.

– Пока хватит с нас, а?

– Думаю, – ответил я. – Слушай, если сможешь, спустись вниз или в мою комнату, ладно? – добавил я поспешно, чтобы он не успел повесить трубку.

– Договорились, – сказал Снаут. – Но не знаю когда.

На этом кончилась наша проблемная дискуссия.

Чудовища

Посреди ночи меня разбудил свет. Я приподнялся на локте, заслонив другой рукой глаза. Хари, завернувшись в простыню, сидела в ногах кровати, съежившись, с лицом, закрытым волосами. Плечи ее тряслись. Она беззвучно плакала.

– Хари!

Она съежилась еще сильнее.

– Что с тобой?.. Хари...

Я сел на постели, еще не совсем проснувшись, постепенно освобождаясь от кошмара, который только что давил на меня. Девушка дрожала. Я обнял ее. Она оттолкнула меня локтем.

– Любимая.

– Не говори так.

– Ну, Хари, что случилось?

Я увидел ее мокрое распухшее лицо. Большие детские слезы катились по щекам, блестили в ямочке на подбородке, капали на простыню.

– Ты не любишь меня.

– Что тебе пришло в голову!

– Я слышала.

Я почувствовал, что мое лицо застывает.

– Что слышала? Ты не поняла, это был только...

– Нет, нет. Ты говорил, что это не я. Чтобы уходила. Уходила. Ушла бы, но не могу. Я не знаю, что это. Хотела и не могу. Я такая... такая... мерзкая!

– Детка!!!

Я схватил ее, прижал к себе изо всех сил, целовал руки, мокрые соленые пальцы, повторял какие-то клятвы, заклинания, просил прощения, говорил, что это был только глупый, отвратительный сон. Понемногу она успокоилась, перестала плакать, повернула ко мне голову:

– Нет, не говори этого, не нужно. Ты для меня не такой...

– Я не такой!

Это вырвалось у меня, как стон.

– Да. Ты не любишь меня. Я все время чувствую это. Только притворялась, что не замечаю. Думала, может, мне кажется... Нет. Ты ведешь себя... по-другому. Не принимаешь меня всерьез. Это был сон, правда, но снилась-то тебе я. Ты называл меня по имени. Я тебе противна. Почему? Почему?

Я упал перед ней на колени, обнял ноги.

– Детка...

– Не хочу, чтобы ты так говорил. Не хочу, слышишь? Никакая я не детка. Я...

Она разразилась рыданиями и упала лицом в постель. Я встал. От вентиляционных отверстий с тихим шорохом потянуло холодным воздухом. Меня начало знобить. Я накинул купальный халат, сел на кровать и дотронулся до ее плеча.

– Хари, послушай. Я что-то тебе скажу. Скажу правду...

Она медленно приподнялась на руках и села. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Мое лицо снова одеревенело, и мне стало так холодно, как будто я стоял на морозе. В голове было совершенно пусто.

– Правду? – переспросила она. – Святое слово?

Я не сразу ответил, судорогой сжало горло. Это была наша старая клятва. Когда она произносилась, никто из нас не смел не только лгать, – но и умолчать о чем-нибудь. Было время, когда мы мучились чрезмерной честностью, наивно считая, что это нас спасет.

– Святое слово, – сказал я серьезно. – Хари...

Она ждала.

– Ты тоже изменилась. Мы все меняемся. Но я не это хотел сказать. Действительно, похоже... что по причине, которой мы оба точно не знаем... ты не можешь меня покинуть. Но это очень хорошо, потому что я тоже не могу тебя...

– Крис!

Я поднял Хари, завернутую в простыню, и начал ходить по комнате, укачивая ее. Она погладила меня по лицу.

– Нет. Ты не изменился. Это я, – шепнула она. – Что со мной? Может быть, то?..

Она смотрела в черный пустой прямоугольник разбитой двери, обломки которой я вынес вечером на склад. «Надо будет навесить новую», – подумал я и посадил ее на кровать.

– Ты когда-нибудь спишь? – спросил я, стоя над ней с опущенными руками.

– Не знаю.

– Как не знаешь? Подумай, дорогая.

– Это, пожалуй, не настоящий сон. Может, я больна? Лежу так и думаю, и вот...

Она опять задрожала.

– Что? – спросил я шепотом, у меня срывался голос.

– Это очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся.

– Например?

«Нужно быть спокойным, что бы я ни услышал», – подумал я и приготовился к ее словам, как к сильному удару.

Она беспомощно покачала головой.

– Это как-то... так... вокруг...

– Не понимаю...

– Так, как будто не только во мне, но гораздо дальше, как-то... я не могу сказать. Для этого нет слов...

– Это, наверное, сны, – бросил я как бы нехотя и вздохнул с облегчением. – А теперь погаси свет, и до утра у нас не будет никаких огорчений, а утром, если нам захочется, мы позаботимся о новых. Хорошо?

Она протянула руку к выключателю, в комнате стало темно, я лег в остывшую постель и, почувствовав тепло ее приближающегося дыхания, обнял Хари.

– Сильнее, – шепнула она. И после долгого молчания: – Крис!

– Что?

– Люблю тебя.

Мне хотелось кричать.

Утро было красным. Огромный солнечный диск стоял низко над горизонтом. У порога комнаты лежало письмо. Я разорвал конверт. Хари была в ванной, я слышал, как она напевала. Время от времени она выглядывала оттуда, облепленная мокрыми волосами. Я подошел к окну и прочитал:

«Кельвин, мы завязли. Сарториус за энергичные действия. Он верит, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Ему нужно для опытов некоторое количество плазмы как исходного материала. Он предлагает, чтобы ты отправился на разведку и взял немного плазмы в контейнер. Поступай как считаешь нужным, но поставь меня в известность о своем решении. У меня нет никакого мнения. Мне кажется, что у меня вообще ничего нет. Я хотел бы, чтобы ты сделал это только потому, что все-таки это будет движение вперед, хотя бы и мнимое. Иначе останется только позавидовать Г.

Хорек.

Р. С. Не заходи на радиостанцию. Это ты можешь для меня сделать. Лучше позвони».

У меня сжалось сердце, когда я читал это письмо. Я внимательно просмотрел его еще раз, разорвал и обрывки бросил в раковину. Потом начал искать комбинезон для Хари. Это было ужасно. Совсем как в прошлый раз. Но она ничего не знала, иначе не могла бы так обрадоваться, когда я сказал ей, что должен отправиться в небольшую разведку наружу и прошу ее меня сопровождать. Мы позавтракали в маленькой кухне (причем Хари снова с трудом проглотила несколько кусочков) и пошли в библиотеку.

Я хотел просмотреть литературу, касающуюся проблем поля и нейтринных систем, прежде чем сделаю то, чего хочет Сарториус. Я еще не знал, как за это взяться, но твердо решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что этот пока не существующий нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута и Сарториуса, а я переждал бы «операцию» вместе с Хари где-нибудь снаружи, например в ракете. Некоторое время я работал у большого электронного каталога, задавая ему вопросы, на которые он либо отвечал, выбрасывая карточки с лаконичной надписью «отсутствует в библиографии», либо предлагал мне углубиться в такие джунгли специальных физических работ, что я не представлял, с какого бока к ним подступиться. Мне как-то не хотелось покидать это большое круглое помещение с гладкими стенами, уставленное шкапами с множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре станции, библиотека без окон была самым изолированным местом внутри стальной скорлупы. Кто знает, не потому ли мне было здесь так хорошо, несмотря на явный провал моих поисков. Я бродил по большому залу, пока не очутился перед огромным, достигающим потолка стеллажом, полным книг. Ценность этого собрания была весьма сомнительна. Скорее его держали здесь как дань памяти и уважения пионерам соляристических исследований. На полках стояло около шестисот томов – классика предмета, начиная от монументальной, хотя в значительной мере уже устаревшей девяти томной монографии Гезе. Я снимал тома, от тяжести которых отвисала рука, и нехотя перелистывал, присев на ручку кресла. Хари тоже нашла себе какую-то книжку, через ее плечо я прочитал несколько строчек. Это была одна из немногих книг, принадлежавших первой экспедиции, чуть ли не собственность самого Гезе, – «Межпланетный повар». Я ничего не сказал, видя, с каким вниманием Хари изучает кулинарные рецепты, приспособленные к жестким условиям космонавтики, и вернулся к тому, который лежал у меня на коленях. Работа Гезе «Десять лет изучения Соляриса» вышла в серии «Соляриана» выпусками от четвертого до двенадцатого, в то время как сейчас они имеют четырехзначные номера.

Гезе не обладал слишком большой фантазией; впрочем, эта черта может только повредить исследователю Соляриса. Нигде, пожалуй, воображение и умение быстро создавать гипотезы не представляют такой опасности. В конце концов на этой планете все возможно. Неправдоподобно звучащие описания форм, которые создает плазма, все-таки абсолютно точны, хотя и не поддаются проверке, так как океан очень редко повторяет свои эволюции. Того, кто наблюдает их впервые, они поражают главным образом загадочностью и гигантскими размерами. Если бы они проявлялись в более мелких масштабах, в какой-нибудь луже, их бы, наверное, признали за еще одну «выходку природы», проявление случайности и слепой игры сил. То, что посредственность и гениальность одинаково беспомощны перед неисчерпаемым разнообразием соляристических форм, также не облегчает общения с феноменами живого океана. Гезе не был ни тем, ни другим. Он был попросту классификатором-педантом из тех, у кого за наружным спокойствием скрывается поглощающая всю их жизнь неиссякаемая страсть к работе. До тех пор, пока мог, он пользовался чисто описательным языком, а когда ему не хватало слов, помогал себе, создавая новые, часто неудачные, не соответствующие явлениям, которые описывал. Впрочем, никакие термины не воспроизводят того, что делается на Солярисе. Его «древогоры», «длиннуши», «грибища»,

«мимойды», «симметриады» и «асимметриады», «позвоночники» и «быстренники» звучат страшно искусственно, но дают некоторое представление о Солярисе даже тем, кто, кроме неясных фотографий и чрезвычайно несовершенных фильмов, ничего не видел. Разумеется, и этот добросовестный классификатор грешил многими нелепостями. Человек создает гипотезы всегда, даже если он очень осторожен, даже если совсем об этом не догадывается. Гезе считал, что «длиннуши» являются основной формой, и сопоставлял их с многократно увеличенными и нагроможденными приливными волнами земных морей. Впрочем, те, кто рылся в первом издании его произведения, знают, что первоначально он так и назвал их «приливами», вдохновленный геоцентризмом, который был бы смешон, если бы не был так беспоощен.

Ведь это – если уж искать аналогии на Земле – формации, своими размерами превосходящие Большой Колорадский каньон, смоделированные в массе, которая вверху имеет студенисто-пенистую консистенцию (причем эта пена застывает в гигантские легко ломающиеся фестоны, в кружева с огромными ячейками, некоторым исследователям они даже представляются «скелетистыми наростами»), а под поверхностью переходит в субстанцию все более упругую, как напряженный мускул, но мускул, вскоре, на глубине полутора десятков метров, приобретающий твердость скалы, хотя и сохраняющий эластичность. Между натянутыми на хребте чудовища перепонками, за которые цепляются «скелетики», тянется на расстоянии многих километров собственно «длиннуш» – образование, с виду совершенно самостоятельное, похожее на какого-то колоссального питона, который проглотил целые горы и теперь молча их переваривает, время от времени сообщая своему сжатому по-рыбьи телу медленные колебательные движения. Но так «длиннуш» выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же приблизиться к нему настолько, что обе «стены ущелья» вознесутся на сотни метров, «туловище питона» окажется простирающимся до горизонта пространством, заполненным головокружительным движением. Понемногу становится понятным, что здесь, под тобой, находится центр действия сил, которые поддерживают возносящиеся к небу склоны медленно кристаллизующегося сиропа. Но того, что очевидно для глаза, недостаточно для науки. Сколько лет длились отчаянные дискуссии о том, что именно происходит в недрах «длиннушей», миллионы которых бороздят безбрежные просторы океана. Считалось, что это какие-то органы океана, что в них происходит обмен веществ, дыхательные процессы, транспортировка питательных субстанций, и только запыленные библиотеки знают, что еще. Каждую гипотезу в конце концов удавалось ниспровергнуть тысячами кропотливых, а иногда и связанных с риском исследований. И все это касается только «длиннушей», формы, по сути дела, самой простой, самой устойчивой (их существование продолжается недели – явление здесь совершенно исключительное).

Наиболее непонятной формой – причудливой и вызывающей у наблюдателя, пожалуй, самый резкий протест (конечно, инстинктивный) – были «мимойды». Можно сказать, что Гезе в них влюбился и их изучению, описанию, выяснению их сущности посвятил себя целиком. В названии он пытался отразить то, что было в них наиболее примечательно для человека: стремление к повторению окружающих форм, все равно, близких или далеких.

В один прекрасный день глубоко под поверхностью океана возникает темный плоский широкий круг с рваными краями и как бы залитый смолой. Через несколько часов он начинает делиться на части, все более расчленяется и одновременно пробивается к поверхности. Наблюдатель мог бы поклясться, что под ним происходит страшная борьба, потому что со всех сторон сюда мчатся похожие на искривленные губы, затягивающиеся кратеры, бесконечные ряды кольцевых волн громоздятся над разлившимся в глубине черным колеблющимся призраком и, вставая на дыбы, обрушиваются вниз. Каждому такому броску сотен тысяч тонн плазмы сопутствует растянутый на секунды, липкий, хочется сказать чавкающий, гром. Тут все происходит с гигантским размахом. Темное чудовище оказывается

загнанным в глубину, каждый следующий удар словно расплющивает его и расщепляет, от отдельных хлопьев, которые свисают, как намокшие крылья, отходят продолговатые гроздья, сужающиеся в длинные ожерелья, сплавляются друг с другом и плывут вверх, таща за собой как бы приросший к ним раздробленный материнский диск. А в это время сверху неустанно низвергаются во все более углубляющуюся впадину новые кольца волн. Такая игра продолжается иногда день, иногда меньше. Порой на этом все и кончается. Добросовестный Гезе назвал такой вариант «недоношенным мимойдом», как будто у него были точные сведения, что конечной целью каждого такого катаклизма является «зрелый мимойд», то есть колония полипообразных светлых наростов (обычно превышающая размеры земного города), назначение которой – передразнивать окружающие формы. Разумеется, сразу же появился другой солярист – Ивенс, который признал эту последнюю фазу дегенерацией, извращением, угасанием, а все многообразие созданных форм – очевидным проявлением освобождения отпочковавшихся частей из-под «материнской» власти.

Однако Гезе, который в описаниях других соляристических образований осторожен, как муравей, ползущий по замерзшему водопаду, в этом случае был так уверен в себе, что даже систематизировал отдельные фазы формирования мимойда по степени возрастающего совершенства.

Наблюдаемый с высоты, мимойд кажется похожим на город, но это просто заблуждение, вызванное поисками аналогии среди уже известных явлений. Когда небо чисто, все многоэтажные отростки и их вершины окружены слоями нагретого воздуха, что создает мнимые колебания и изменения форм, которые и без того трудно определить. Первая же туча вызывает немедленную реакцию. Начинается стремительное расслоение. Вверх выбрасывается почти совсем отделенная от основания тягучая оболочка, похожая на цветную капусту, которая сразу же бледнеет и через несколько минут в точности имитирует клубящуюся тучу. Это гигантское образование отбрасывает красноватую тень, вместо одних вершин мимойда возникают другие, причем движение всегда направлено в сторону, противоположную движению настоящей тучи. Думаю, что Гезе дал бы отсечь себе руку, чтобы узнать, почему так происходит. Но такие «одиошные изделия» ничто по сравнению со стихийной деятельностью мимойда, «раздраженного» присутствием предметов и конструкций, которые появляются над ними по воле земных пришельцев. Воспроизводится все, что находится на расстоянии, не превышающем двенадцати – пятнадцати километров. Чаще всего мимойд создает увеличенные изображения, иногда деформируя их и преобразуя в карикатуры или гротескные упрощения; в особенности это относится к машинам. Разумеется, материалом всегда является та же самая быстро светлеющая масса, изверженная океаном. Вместо того чтобы упасть, она повисает в воздухе, соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием, по которому она медленно передвигается и, одновременно корчась, сокращаясь или увеличиваясь в объеме, пластично формируется в сложные конструкции. Ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой быстротой. Мимойд не реагирует только на самих людей, точнее говоря, ни на какие живые существа, а также на растения, которые тоже доставляли на Солярис в экспериментальных целях неутомимые исследователи. Однако манекен, кукла, изображение собаки или дерева, выполненные из любого материала, копируются немедленно.

Здесь, увы, нужно заметить, кстати, что «повиновение» мимойда желаниям экспериментаторов, такое редкое на Солярисе, время от времени пропадает. У зрелого мимойда есть свои, если можно так выразиться, «выходные дни», во время которых он только очень медленно пульсирует. Эта пульсация, впрочем, совершенно незаметна для глаза. Ее ритм, одна фаза «пульса», продолжается больше двух часов, и потребовались специальные киносъемки, чтобы это установить.

В такие периоды мимойд, особенно старый, очень удобно исследовать, так как и погруженный в океан поддерживающий диск, и возносящиеся над ним формы представляют собой вполне надежную опору для ног.

Можно, конечно, побывать в недрах мимойда и в его «рабочие» дни, но в это время видимость близка к нулю вследствие того, что из специальных отростков копирующей массы непрерывно выделяется медленно оседающая, пушистая, похожая на снег коллоидная взвесь. Нужно сказать, что эти формы не следует рассматривать с небольшого расстояния, так как их величина близка к величине земных гор. Кроме того, основание «работающего» мимойда становится вязким от коллоидного снега, который только через несколько часов превращается в твердую корку, гораздо более легкую, чем пемза.

Наконец, без специального снаряжения легко заблудиться в лабиринте огромных конструкций, напоминающих не то искореженные колонны, не то полужидкие гейзеры, и это даже при ярком солнечном свете, который не может пробить облака взвеси, непрерывно выбрасываемой в атмосферу «псевдовзрывами».

Наблюдение мимойда в его счастливые дни (точнее говоря, это счастливые дни для исследователя, который над ним находится) может стать источником незабываемых впечатлений. Мимойд переживает свои «творческие взлеты», когда начинается какая-то противостественная гиперпродукция. Тогда он создает либо собственные варианты окружающих форм, либо их усложненное изображение или даже «формальное продолжение», и так может забавляться часами на радость художнику-абстракционисту и к отчаянию ученого, который напрасно старается что-нибудь понять в происходящих процессах. Временами в деятельности мимойда проявляются черты откровенно детского упрощения, иногда он впадает в «барочные отклонения»: тогда все, что он строит, отмечено разбухшей слоновостью. Старые мимойды особенно часто создают фигуры, способные вызвать искренний смех.

Само собой разумеется, что в первые годы исследований ученые набросились на мимойды, приняв их за центры соляристического океана, где наступит желанный контакт двух цивилизаций. Однако очень быстро выяснилось, что ни о каком контакте нет и речи, так как все начиналось и кончалось имитацией форм, которая никуда не вела. Вновь и вновь исследователи в отчаянных поисках обращались к антропо- или зооморфизму, который усматривал в самых разных творениях живого океана «мыслительные органы» или даже «конечности», – такие ученые, как Маартенс, Экконаи, принимали за них «позвоночники» и «быстренники» Гезе. Но считать эти протуберанцы живого океана, иногда выбрасываемые в атмосферу на высоту до трех километров, «конечностями» было столько же оснований, сколько считать землетрясения «гимнастикой» земной коры.

Каталог форм, повторяющихся более или менее постоянно, рождаемых живым океаном так часто, что в течение суток можно открыть на его поверхности несколько десятков их или даже сотен, охватывает примерно триста названий. Наиболее нечеловеческими в смысле абсолютного отсутствия подобия всему, что когда-либо исследовано человеком на Земле, являются, согласно школе Гезе, симметриады. Постепенно стало ясно, что океан не проявляет агрессивных намерений и погибнуть в его плазменных пучинах может только тот, кто этого специально добивается (естественно, я не говорю о несчастных случаях, вызванных, например, поломкой кислородного аппарата или кондиционера). Даже цилиндрические реки «длиннушей» и чудовищные столбы «позвоночников», неуверенно блуждающих среди туч, можно навывлет пробить самолетом или другим летательным аппаратом без малейшей опасности; плазма освобождает дорогу, расступаясь перед инородным телом со скоростью, равной скорости звука в атмосфере Соляриса, образуя, если ее к этому вынуждают, глубокие тоннели даже под поверхностью океана (причем энергия, которая в этих целях приводится в действие, огромна – Скрябин оценил ее примерно в 1019 эргов!!!). Однако к исследованию

симметриад приступили с чрезвычайной осторожностью, постоянно отступая, соблюдая все правила безопасности, часто, правда, фиктивные, а имена тех, которые первыми проникли в их бездны, известны на Земле каждому ребенку.

Ужас, который внушают эти исполины, объясняется не их внешним видом, хотя он действительно может навеять кошмарные сны. Скорее он вызван тем, что в их пределах нет ничего постоянного, ничего несомненного, в них нарушаются даже физические законы. Именно это давало ученым основание все настойчивее повторять, что живой океан разумен.

Симметриады появляются внезапно. Их образование напоминает извержения. Океан вдруг начинает блестеть, как будто несколько десятков квадратных километров его поверхности покрыты стеклом. При этом ни его густота, ни ритм волнения не меняются. Иногда симметриада возникает там, где образовалась воронка, засосавшая «быстренник», но это происходит далеко не всегда. Через некоторое время стекляннистая оболочка выбрасывается вверх в виде чудовищного пузыря, в котором, искажаясь и преломляясь, отражается весь небосклон, солнце, тучи, горизонт. Молниеносная игра цветов, вызванная отчасти поглощением, отчасти преломлением света, не имеет себе подобной.

Особенно резкие световые эффекты свойственны симметриадам, возникающим во время голубого дня, а также перед заходом солнца. В этот период создается впечатление, что планета рождает другую, с каждым мгновением удваивающую свой объем. Сверкающий огнями глобус, с трудом выдавленный из глубины, растрескивается у вершины на вертикальные секторы. Но это не распад. Эта стадия, не очень удачно названная «фазой цветочной чашечки», длится секунды. Направленные в небо перепончатые арки переворачиваются, соединяются в невидимой внутренней части и начинают моментально формировать что-то вроде коренастого торса, внутри которого происходят одновременно сотни явлений.

Через некоторое время симметриада начинает проявлять свою самую удивительную особенность – моделирование, или, точнее, нарушение физических законов. Предварительно нужно сказать, что не бывает двух одинаковых симметриад и геометрия каждой из них является как бы новым изобретением океана. Далее симметриада создает внутри себя то, что часто называют «моментальными машинами», хотя эти конструкции совсем не похожи на машины, сделанные людьми. Здесь речь идет об относительно узкой и поэтому как бы «механической» цели действия.

Бьющие из бездны гейзеры формируют толстостенные галереи или коридоры, расходящиеся во всех направлениях, а перепонки создают систему пересекающихся плоскостей, свисающих канатов, сводов. Симметриады оправдывают свое название тем, что каждому образованию в районе одного ее полюса соответствует совпадающее даже в мелочах образование на противоположном полюсе.

Через какие-нибудь двадцать – тридцать минут гигант начинает медленно погружаться в океан, наклонив сначала свою вертикальную ось на восемь – двенадцать градусов.

Симметриады бывают побольше и поменьше, но даже карликовые после погружения возносятся на добрые восемьсот метров над уровнем океана и видны на расстоянии десятков километров.

Попасть внутрь симметриады безопаснее всего сразу же после восстановления равновесия, когда вся система перестает погружаться и возвращается в вертикальное положение. Наиболее интересной для изучения является вершина симметриады. Относительно гладкую «шапку» полюса окружает пространство, продырявленное, как решето, отверстиями внутренних камер и тоннелей. В целом эта формация является трехмерной моделью какого-то уравнения высшего порядка.

Как известно, каждое уравнение можно выразить языком высшей геометрии и построить эквивалентное ему геометрическое тело. В таком понимании симметриада – родственница конусов Лобачевского и отрицательных кривых Римана, но родственница очень даль-

няя вследствие своей невообразимой сложности. Скорее, это охватывающая несколько кубических километров модель целой математической системы, причем модель четырехмерная, ибо сомножители уравнения выражаются также и во времени, в происходящих с его течением изменениях.

Самой простой была, естественно, мысль, что перед нами какая-то «математическая машина» живого океана, созданная в соответствующих масштабах модель расчетов, необходимых ему для неизвестных нам целей. Но эту гипотезу Фермонта сегодня уже никто не поддерживает. Не было недостатка и в попытках создания какой-нибудь более доступной, более наглядной модели симметриады. Но все это ничего не дало.

Симметриады неповторимы, как неповторимы любые происходящие в них явления. Иногда воздух перестает проводить звук. Иногда увеличивается или уменьшается коэффициент рефракции. Локально появляются пульсирующие ритмичные изменения тяготения – словно у симметриады есть бьющееся гравитационное сердце. Время от времени гироскопы исследователя начинают вести себя как сумасшедшие, возникают и исчезают слои повышенной ионизации... Это перечисление можно было бы продолжить. Впрочем, если когда-нибудь тайна симметриад будет разгадана, останутся еще асимметриады...

Экспедиции отмерили сотни километров в глубинах симметриад, расставили регистрирующие аппараты, автоматические кинокамеры; телевизионные глаза искусственных спутников регистрировали возникновение мимойдов и длиннушей, их созревание и гибель. Библиотеки наполнялись, разрастались архивы; цена, которую за это приходилось платить, порой была очень высокой. Семьсот восемнадцать человек погибло во время катаклизмов, не успев выбраться из уже приговоренных к гибели колоссов, из них сто шесть только в одной катастрофе, известной потому, что в ней нашел смерть и сам Гезе, в то время семидесятилетний старик. Семьдесят девять человек, одетых в панцирные скафандры, вместе с машинами и приборами поглотил в несколько секунд взрыв грязной жижи, сбивший своими брызгами остальных двадцать семь, которые пилотировали самолеты и вертолеты, кружившие над местом исследований. Эта точка на пересечении сорок второй параллели с восьмидесятым меридианом обозначена на картах как «Кладбище ста шести». Но она существует лишь на картах, поверхность океана ничем не отличается там от любого другого пункта.

Тогда впервые в истории соляристических исследований раздался голос, требующий нанесения термоядерных ударов. Это было хуже, чем месть, речь шла об уничтожении того, чего мы не можем понять. В тот момент, когда обсуждалось это предложение, Тсанкен, случайно уцелевший начальник резервной группы Гезе, пригрозил, что взорвет станцию вместе с собой и восемнадцатью оставшимися людьми. И хотя официально никогда не признавалось, что его самоубийственный ультиматум повлиял на результат голосования, можно допустить, что это было именно так.

Но времена, когда многочисленные экспедиции посещали планету, прошли. Сама станция – инженерное сооружение такого масштаба, что Земля могла бы им гордиться, если бы не способность океана в течение секунды создавать конструкции в миллионы раз большие, – была сделана в виде диска диаметром двести метров с четырьмя ярусами в центре и с двумя по краю. Она висела на высоте от пятисот до полутора тысяч метров над океаном благодаря гравиторам, приводившимся в движение энергией аннигиляции, и кроме обычной аппаратуры, которой оборудуются все станции и спутники других планет, имела специальные радарные установки, готовые при малейших изменениях состояния поверхности океана включить дополнительную мощность, – как только появлялись первые признаки рождения нового чудовища, стальной диск поднимался в стратосферу.

Теперь станция совершенно обезлюдела. С тех пор как автоматы были заперты – по неизвестной мне до сих пор причине – в нижних складах, можно было бродить по коридо-

рам, не встречая никого, как на бесцельно дрейфующем судне, машины которого пережили гибель команды.

Когда я поставил на полку девятый том монографии Гезе, мне показалось, что сталь, скрытая слоем пушистого пенопласта, задрожала у меня под ногами. Я замер, но дрожь не повторилась. Библиотека была тщательно изолирована от корпуса, и вибрация могла возникнуть только по одной причине: стартовала какая-то ракета. Эта мысль вернула меня к действительности. Я еще не решил окончательно, выполнить ли мне желание Сарториуса. Если я буду вести себя так, будто полностью одобряю его планы, то в лучшем случае смогу лишь оттянуть кризис; я был почти уверен, что дело дойдет до столкновения, так как решил сделать все возможное, чтобы спасти Хари. Весь вопрос в том, имел ли Сарториус шансы на успех. Его преимущество передо мной было огромным – как физик он знал проблему в десять раз лучше меня, и я мог рассчитывать, как это ни парадоксально, только на сложность задач, которые ставил перед нами океан. В течение следующего часа я корпел над микрофильмами, пытаясь выловить хоть что-нибудь доступное моему пониманию из моря сумасшедшей математики, языком которой разговаривала физика нейтринных процессов. Сначала мне это показалось безнадежным, тем более что дьявольски сложных теорий нейтринного поля было целых пять – верный признак того, что ни одна из них не верна. Однако в конце концов мне удалось найти нечто обнадеживающее. Я переписал некоторые формулы и в этот момент услышал стук.

Я быстро подошел к двери и открыл ее, загородив собой щель. В ней показалось блестящее от пота лицо Снаута. Коридор за ним был пуст.

– А, это ты, – сказал я, приоткрывая дверь. – Заходи.

– Да, это я.

Голос его звучал хрипло, под воспаленными глазами висели мешки. На нем был блестящий резиновый антирадиационный фартук на эластичных помочах, из-под фартука выглядывали все те же перепачканные брюки. Его глаза обежали круглый, равномерно освещенный зал и остановились, когда он заметил стоящую около кресла Хари. Мы обменялись быстрым взглядом, я опустил веки; тогда он слегка поклонился, а я, впадая в светский тон, сказал:

– Это доктор Снаут, Хари. Снаут, это... моя жена.

– Я... малозаметный член экипажа и поэтому... – пауза становилась опасной, – не имел случая познакомиться...

Хари усмехнулась и подала ему руку, которую он пожал, как мне показалось, немного обалдело, несколько раз моргнул и застыл, глядя на нее, пока я не взял его за плечи.

– Извините, – произнес он тогда, обращаясь к ней. – Я хотел поговорить с тобой, Кельвин...

– Разумеется, – ответил я с какой-то великосветской непринужденностью. Все это звучало как низкопробная комедия. Выхода, однако, не было. – Хари, дорогая, не обращай на нас внимания. Мы должны поговорить о наших скучных делах.

Я взял Снаута за локоть и провел его к маленьким креслицам в противоположной стороне зала. Хари уселась в кресло, в котором до этого сидел я, но подвинула его так, чтобы, поднимая голову от книжки, видеть нас.

– Ну что? – спросил я тихо.

– Развелся, – ответил он свистящим шепотом.

Возможно, я бы рассмеялся, если бы мне когда-нибудь передали эту историю и такое начало разговора, но на станции чувство юмора у меня было ампутировано.

– Со вчерашнего дня я прожил пару лет, Кельвин, – добавил он. – Пару неплохих лет. А ты?

– Ничего... – ответил я через мгновение, так как не знал, что говорить. Я любил его, но чувствовал, что сейчас должен его опасаться – вернее, того, с чем он ко мне пришел.

– Ничего... – повторил Снаут тем же тоном, что и я. – Даже так?..

– О чем ты? – Я сделал вид, что не понимаю.

Он прищурил налитые кровью глаза и, наклонившись ко мне так, что я почувствовал на лице тепло его дыхания, зашептал:

– Мы увязаем, Кельвин. С Сарториусом я уже не могу связаться, знаю только то, что написал тебе. Он сказал мне это после нашей маленькой конференции...

– Он выключил видеофон?

– Нет. У него там короткое замыкание. Кажется, он сделал это нарочно или... – Снаут резко опустил кулак, будто разбивал что-то.

Я смотрел на него молча.

– Кельвин, я пришел, потому что... – Он не закончил фразу. – Что ты собираешься делать?

– Ты об этом письме? – ответил я медленно. – Я могу это сделать, не вижу повода для отказа, собственно, для того здесь и сижу, хотел разобраться...

– Нет, – прервал он. – Не об этом...

– Нет? – переспросил я, изображая удивление. – Слушаю.

– Сарториус, – буркнул он после недолгого молчания. – Ему кажется, что он нашел путь... вот...

Он не спускал с меня глаз. Я сидел спокойно, стараясь придать лицу безразличное выражение.

– Во-первых, та история с рентгеном. То, что делал с ним Гибарян, помнишь? Возможна некоторая модификация...

– Какая?

– Мы посылали просто пучок лучей в океан и модулировали только их напряжение по разным законам.

– Да, я знаю об этом. Нилин уже ставил подобные опыты. И огромное количество других.

– Верно. Но они применяли мягкое излучение. А у нас было жесткое, мы всаживали в океан все, что имели, всю мощность.

– Это может привести к неприятным последствиям, – заметил я. – Нарушение Конвенции Четырех и ООН.

– Кельвин... не прикидывайся. Ведь теперь это не имеет никакого значения. Гибаряна нет в живых.

– Ага, Сарториус все хочет свалить на него?

– Не знаю. Я не говорил с ним об этом. Это не важно. Сарториус считает, что коль скоро «гость» появляется всегда лишь в момент пробуждения, то, очевидно, океан извлекает из нас рецепт производства во время сна: видимо, полагает, что самое важное наше состояние – именно сон. Поэтому так поступает. А Сарториус хочет передать ему нашу явь – мысли во время бодрствования, понимаешь?

– Каким способом? Почтой?

– Шутить будешь потом. Этот пучок излучения мы промодулируем токами мозга кого-нибудь из нас.

У меня вдруг прояснилось в голове:

– Ага. И этот кто-то – я. Так?

– Да. Он думал о тебе.

– Сердечно благодарю.

– Что ты на это скажешь?

Я молчал. Ничего не говоря, он медленно посмотрел на погруженную в чтение Хари и опять перевел взгляд на мое лицо. Я почувствовал, что бледнею, и не мог с этим справиться.

– Ну как?.. – спросил он.

Я пожал плечами.

– Эти рентгеновские проповеди о великолепии человека я считаю шутовством. И ты тоже. Может быть, нет?

– Да?

– Да.

– Это очень хорошо, – сказал он и улыбнулся, как будто я исполнил его желание. – Значит, ты против всей этой истории?

Я не понимал еще, как это произошло, но в его взгляде прочитал, что он загнал меня туда, куда хотел. Я молчал. Что теперь было говорить?

– Отлично, – произнес он. – Потому что есть еще один проект. Перемонтировать аппарат Роше.

– Аннигилятор?..

– Да. Сарториус уже сделал предварительные расчеты. Это реально. И даже не потребует большой мощности. Аппарат будет действовать неограниченное время, создавая антиполе.

– По... подожди! Как ты себе это представляешь?

– Очень просто. Это будет нейтринное антиполе. Обычная материя остается без изменений. Уничтожению подвергаются только... нейтринные системы. Понимаешь?

Он удовлетворенно улыбнулся. Я сидел приоткрыв рот. Постепенно он перестал улыбаться, испытующе посмотрел на меня, нахмурился и, подождав немного, продолжал:

– Итак, первый проект – «Мысль» – отбрасываем. А второй? Сарториус уже сидит над этим. Назовем его «Свобода».

Я на мгновение закрыл глаза. Стал быстро соображать: Снаут не физик. Сарториус выключил или уничтожил видеофон. Очень хорошо.

– Я бы назвал его точнее – «Бойня»... – сказал я медленно.

– Ты сам был мясником. Может, нет? А теперь это будет что-то совершенно иное. Никаких «гостей», никаких существ Ф – ничего. Уже в момент начала материализации начнется распад.

– Это недоразумение, – ответил я, с сомнением покачал головой и усмехнулся. Я надеялся, что выгляжу достаточно естественно. – Это не щепетильность, а инстинкт самосохранения. Я не хочу умирать, Снаут.

– Что?..

Он был удивлен и смотрел на меня подозрительно. Я вытянул из кармана измятый лист с формулами.

– Я тоже думал об этом. Тебя это удивляет? А ведь я первый выдвинул нейтринную гипотезу. Не правда ли? Смотри. Антиполе можно возбудить. Для обычной материи оно безопасно. Это верно. Но в момент дестабилизации, когда нейтринная структура распадается, высвобождается излишек энергии. Принимая на один килограмм массы покоя десять в восьмой эргов, получаем для одного существа Ф пять – семь на десять в девятой. Знаешь, что это означает? Это эквивалентно небольшому заряду урана, который взорвется внутри станции.

– Что ты говоришь? Но... ведь Сарториус должен был принять во внимание...

– Не обязательно, – ответил я со злой усмешкой. – Дело в том, что Сарториус принадлежит к школе Фрезера и Кайоли. По их мнению, вся энергия в момент распада освобождается в виде светового излучения. Это была бы попросту сильная вспышка, не совсем, возможно, безопасная, но не уничтожающая. Существуют, однако, другие гипотезы, другие теории нейтринного поля. По Кайе, по Авалову, по Сиону, спектр излучения значительно

шире, а максимум падает на жесткое гамма-излучение. Хорошо, что Сарториус верит своим учителям и их теории, но есть и другие. И знаешь, что я тебе скажу? – протянул я, видя, что мои слова произвели на него впечатление: – Нужно принять во внимание и океан. Если уж он сделал то, что сделал, то наверняка применил оптимальный метод. Другими словами: его действия кажутся мне аргументом в пользу той, другой школы – противников Сарториуса.

– Покажи мне эту бумагу, Кельвин...

Я подал ему лист. Он наклонил голову, пытаясь разобраться в моих каракулях.

– Что это? – ткнул он пальцем.

Я взял у него расчеты.

– Это? Тензор трансмутации поля.

– Дай мне все...

– Зачем тебе? – Я знал, что он ответит.

– Нужно показать Сарториусу.

– Как хочешь, – ответил я равнодушно. – Можешь взять... Только, видишь ли, этого никто не исследовал экспериментально, такие структуры нам еще неизвестны. Он верит во Фрезера, я считал по Сиону. Он скажет, что я не физик и Сион тоже. По крайней мере в его понимании. Но это тема для дискуссии. Меня не устраивает дискуссия, в результате которой я могу испариться, к вящей славе Сарториуса. Тебя я могу убедить, его – нет. И пробовать не стану.

– Он работает над этим. И что же ты хочешь сделать?.. – бесцветным голосом спросил Снаут. Он сгорбился, все его оживление пропало. Я не знал, верит ли он мне, но мне было уже все равно.

– То, что делает человек, которого хотят убить, – ответил я тихо.

– Попробую с ним связаться. Может быть, он думает о каких-нибудь мерах предосторожности, – буркнул Снаут и поднял на меня глаза. – Слушай, а если бы все-таки?.. Тот, первый проект. А? Сарториус согласится. Наверняка. Это... во всяком случае... какой-то шанс.

– Ты в это веришь?

– Нет, – ответил он тотчас. – Но... чему это повредит?

Я не хотел соглашаться слишком быстро, мне ведь это и было нужно. Он становился моим союзником в игре на проволочку.

– Подумаю, – проговорил я.

– Ну, я пошел, – сказал Снаут, вставая. Когда он поднимался, у него затрещали все кости. – Хоть энцефалограмму-то дашь себе сделать? – спросил он, потирая пальцами фар-тук, будто пытаясь стереть с него невидимые пятна.

– Хорошо.

Не обращая внимания на Хари (она сидела с книгой на коленях и молча смотрела на эту сцену), он пошел к двери. Когда она закрылась за ним, я встал. Расправил лист, который держал в руке. Формулы были подлинные. Я не подделал их. Не знаю, правда, согласился ли бы Сион с тем, как я их развил. Пожалуй, нет. Я вздрогнул. Хари подошла сзади и прикоснулась к моей руке.

– Крис!

– Что, дорогая?

– Кто это был?

– Я говорил тебе. Доктор Снаут.

– Что это за человек?

– Я мало его знаю. Почему ты спрашиваешь?

– Он так на меня смотрел...

– Наверное, ты ему понравилась...

– Нет. – Она покачала головой. – Это был не такой взгляд. Смотрел на меня так... как будто...

Она поежилась, подняла глаза и сразу же их опустила.

– Пойдем отсюда...

Жидкий кислород

Не знаю, как долго я лежал в темной комнате, апатично уставившись на светящийся циферблат часов. Слушал собственное дыхание и чему-то удивлялся, оставаясь при этом совершенно равнодушным. Наверное, я просто страшно устал. Я повернулся на бок, кровать была странно широкой, мне чего-то не доставало. Я задержал дыхание и замер. Стало совершенно тихо. Не доносилось ни малейшего звука. Хари? Почему не слышно ее дыхания? Начал шарить руками по постели: я был один.

«Хари!» – хотел я ее позвать, но услышал шаги. Шел кто-то большой и тяжелый, как...

– Гибарян? – сказал я спокойно.

– Да, это я. Не зажигай свет.

– Но...

– Не нужно. Так будет лучше для нас обоих.

– Но ты умер!

– Это ничего. Ты ведь узнаешь мой голос?

– Да. Зачем ты это сделал?

– Пришлось. Ты опоздал на четыре дня. Если бы ты прилетел раньше, может быть, это и не понадобилось бы. Но не упрекай себя. Мне не так уж плохо.

– Ты правда здесь?

– Ах, считаешь, что я снюсь тебе, как ты думал о Хари?

– Где она?

– Почему ты думаешь, что я знаю?

– Догадался.

– Держи это при себе. Предположим, я здесь вместо нее.

– Но я хочу, чтобы она тоже была.

– Это невозможно.

– Почему? Слушай, ты ведь знаешь, что в действительности это не ты, это только я.

– Нет. Это действительно я. Если бы ты хотел быть педантичным, мог бы сказать – это еще один я. Но не будем тратить слов.

– Ты уйдешь?

– Да.

– И тогда она вернется?

– Тебе этого хочется? Кто она для тебя?

– Это мое дело.

– Ты ведь ее боишься?

– Нет.

– И тебе противно...

– Чего ты от меня хочешь?..

– Ты должен жалеть себя, а не ее. Ей всегда будет двадцать лет. Не притворяйся, что не знаешь этого!

Вдруг, совершенно неизвестно почему, я успокоился. И слушал его совсем хладнокровно. Мне показалось, что теперь он стоит ближе, в ногах кровати, но я по-прежнему ничего не видел в этом мраке.

– Чего ты хочешь? – спросил я тихо.

Мой тон как будто удивил его. С минуту он молчал.

– Сарториус убедил Снаута, что ты его обманул. Теперь они тебя обманут. Под видом монтажа рентгеновской аппаратуры они собирают аннигилятор поля.

– Где она? – спросил я.

– Разве ты не слышал, что я тебе сказал? Я предупредил тебя!

– Где она?

– Не знаю. Запомни: тебе понадобится оружие. Ты ни на кого не можешь рассчитывать.

– Могу рассчитывать на Хари.

Послышался слабый короткий звук. Он смеялся.

– Конечно, можешь. До какого-то предела. В конце концов ты всегда можешь сделать то же, что и я.

– Ты не Гибарян.

– Да? А кто? Может быть, твой сон?

– Нет. Ты их кукла. Но сам об этом не знаешь.

– А откуда ты знаешь, кто ты?

Это меня озадачило. Я хотел встать, но не мог. Гибарян что-то говорил. Я не понимал слов, слышал только звук его голоса, отчаянно боролся со слабостью, еще раз рванулся с огромным усилием... – и проснулся. Я хватал воздух, как полузадушенная рыба. Было совсем тепло. Это сон. Кошмар. Сейчас... «дилемма, которую не могу разрешить. Мы преследуем самих себя. Политерия использует какой-то способ селективного усиления наших мыслей. Поиски мотивировки этого явления – и есть антропоморфизм! Там, где нет людей, нет также доступных человеку мотивов. Чтобы продолжать выполнение плана исследований, нужно либо уничтожить собственные мысли, либо их материальную реализацию. Первое не в наших силах. Второе слишком похоже на убийство...»

Я вслушивался в темноте в этот мерный далекий голос, который узнал сразу же: говорил Гибарян. Я вытянул руки перед собой. Постель была пуста.

«Проснулся для следующего сна», – пришла мне в голову мысль.

– Гибарян?.. – окликнул я.

Голос оборвался сразу же на полуслове. Что-то тихонько щелкнуло, и я почувствовал легкое дуновение.

– Ну что же ты, Гибарян? – проворчал я, зевая. – Так преследовать из одного сна в другой, знаешь...

Около меня что-то зашелестело.

– Гибарян! – повторил я громче.

Пружины кровати заскрипели.

– Крис... это я... – послышался рядом со мной шепот.

– Это ты, Хари... а Гибарян?

– Крис... Крис... но ведь он не... ты сам говорил, что он умер...

– Во сне может жить, – протянул я. Но у меня уже не было полной уверенности, что это сон. – Он приходил сюда. Что-то говорил.

Я был страшно сонный. «Раз я сонный – значит, сплю», – пришла мне в голову идиотская мысль. Я дотронулся губами до холодного плеча Хари и улегся поудобнее. Она мне что-то ответила, но я уже провалился в забытие.

Утром, в освещенной красным солнцем комнате, я восстановил в памяти происшествия этой ночи. Разговор с Гибаряном мне приснился, но потом? Я слышал его голос, мог бы в этом поклясться, но не помнил толком, что он говорил.

Это был не разговор, а скорее доклад. Доклад!

Хари мылась. Из ванной слышался плеск воды. Я заглянул под кровать, где недавно стоял магнитофон. Его там не было.

– Хари, – позвал я.

Ее мокрое лицо высунулось из-за шкафа.

– Ты случайно не видела под кроватью магнитофона? Маленький, карманный...

– Там лежали разные вещи. Я все положила туда. – Она показала на полку около шкафчика с лекарствами и исчезла в ванной.

Я вскочил с кровати, но поиски не дали результатов.

– Ты должна была его видеть, – сказал я, когда Хари вернулась в комнату.

Она ничего не ответила и стала причесываться перед зеркалом. Только теперь я заметил, что она бледна, в ее глазах, которые встретились с моими в зеркале, была какая-то настороженность.

– Хари, – начал я, как осел, еще раз, – магнитофона нет на полке.

– Ничего более важного ты не хочешь мне сказать?..

– Извини, – пробормотал я. – Ты права, это глупость.

Не хватает еще, чтобы мы начали ссориться.

Потом мы пошли завтракать. Хари сегодня вела себя иначе, не так, как обычно, но я не мог определить, в чем разница. Она все время осматривалась, не слышала, что я ей говорил, как бы впадая в задумчивость. А один раз, когда она подняла голову, я заметил, что ее глаза блестят.

– Что с тобой? – Я понизил голос до шепота. – Ты плачешь?

– Ох, оставь меня. Это не настоящие слезы, – пролепетала она.

Возможно, я не должен был удовольствоваться этим, но я ничего так не боялся, как «откровенных разговоров». Впрочем, в голове у меня было совсем другое. Хотя интриги Снаута и Сарториуса мне только приснились, я начал соображать, есть ли вообще на станции какое-нибудь подходящее оружие. О том, что с ним делать, я не думал, просто хотел его иметь. Я сказал Хари, что должен заглянуть на склады. Она молча пошла за мной. Я рылся в коробках, искал в ящиках, а когда спустился в самый низ, не мог устоять перед желанием заглянуть в холодильник. Мне, однако, не хотелось, чтобы Хари входила туда, поэтому я только приоткрыл двери и оглядел все помещение. Темный саван возвышался, прикрывая удлиненный предмет, но с того места, где я стоял, нельзя было увидеть, лежит ли там та, черная. Мне показалось, что место, которое она занимала, теперь свободно.

Я не нашел ничего подходящего и был в очень плохом настроении, как вдруг сообразил, что не вижу Хари. Впрочем, она сразу же пришла – отстала в коридоре, – но ее попытки отойти от меня даже на секунду должны были привлечь мое внимание. А я все еще вел себя как кретин или попросту так, будто обиделся неизвестно на кого. У меня разболелась голова, я не мог найти порошков и зной, как сто чертей, перевернул вверх ногами все содержимое аптечки. Снова идти в операционную мне не хотелось. Я редко вел себя так нелепо, как в этот день. Хари тенью сновала по кабине, иногда на секунду исчезая. После полудня, когда мы уже пообедали (собственно, она вообще не ела, а я пожевал без аппетита и оттого, что голова у меня трещала от боли, даже не пробовал уговорить ее поесть), Хари уселась около меня и потянула за рукав.

– Ну, в чем дело? – буркнул я машинально.

Мне казалось, что по трубам доносится слабый стук. Вероятно, Сарториус копался в аппаратуре высокого напряжения. Мне захотелось пойти наверх. Но тут я сообразил, что придется идти с Хари. И если ее присутствие в библиотеке было еще как-то объяснимо, там, среди машин, оно могло вызвать какое-нибудь неуместное замечание Снаута.

– Крис, – шепнула Хари, – как у нас?

Я невольно вздохнул. Нельзя сказать, чтобы этот день был для меня счастливым.

– Как нельзя лучше. О чем ты снова?

– Я хотела бы с тобой поговорить.

– Слушаю.

– Но не так.

– А как? Ну, я же сказал тебе, у меня болит голова, масса работы...

– Немного желания, Крис.

Я выдавил из себя улыбку. Наверно, она была жалкой.

– Да, дорогая. Говори.

– А ты скажешь мне правду?

Я поднял брови. Такое начало мне не понравилось.

– Для чего же мне врать?

– Может, у тебя есть основания. Серьезные. Но если хочешь, чтобы... ну в общем... то не обманывай меня.

Я молчал.

– Я тебе что-то скажу, и ты мне скажешь. Ладно? Это будет правда. Несмотря ни на что.

Я отвел глаза. Она искала мой взгляд, но я притворялся, что не замечаю этого.

– Я тебе уже говорила, что не знаю, откуда здесь взялась. Но, может, ты знаешь. Погоди, я еще не кончила. Возможно, ты и не знаешь. А если знаешь, но не можешь этого мне сказать сейчас, то, может, позднее когда-нибудь? Это не самое плохое. Во всяком случае, дашь мне шанс.

На меня словно обрушился холодный поток.

– Детка, что ты говоришь?... Какой шанс? – запинаясь я.

– Крис, кто бы я ни была, я наверняка не ребенок. Ты обещал. Скажи.

От этого «кто бы я ни была» у меня так перехватило горло, что я мог только смотреть на нее, глуповато трясая головой, как будто защищался от ее слов.

– Я ведь объяснила – ты не обязан говорить. Достаточно будет, если скажешь, что ты не можешь.

– Я ничего не скрываю, – ответил я хрипло.

– Это хорошо. – Она встала.

Я хотел что-то сказать. Чувствовал, что не могу оставить ее так, но слова застряли у меня в горле.

– Хари...

Она стояла у окна, отвернувшись. Темно-синий океан лежал под голым небом.

– Хари, если ты думаешь... Хари, ведь ты знаешь, что я люблю тебя...

– Меня?

Я подошел к ней. Хотел ее обнять. Она высвободилась, оттолкнув мою руку.

– Ты такой добрый... Любишь меня? Я бы предпочла, чтобы ты меня бил!

– Хари, дорогая!

– Нет. Нет. Молчи уж лучше.

Она подошла к столу и начала собирать тарелки. Я смотрел на синюю пустыню. Солнце садилось, и огромная тень станции мерно колебалась на волнах. Тарелка выскользнула из рук Хари и упала на пол. Вода булькнула в моечном аппарате. Рыжий цвет по краям небосклона переходил в грязно-красное золото. Если бы я знал, что делать! Если б знал! Вдруг стало тихо. Хари стояла рядом со мной, сзади.

– Нет. Не оборачивайся, – сказала она шепотом. – Ты ни в чем не виноват, Крис. Я знаю. Не мучайся.

Я протянул к ней руки. Она отскочила и, подняв целую стопку тарелок, сказала:

– Жаль. Если бы они могли разбиться, разбила бы, все разбила бы!

Какое-то мгновение я думал, что она и вправду швырнет их на пол, но она внимательно посмотрела на меня и усмехнулась:

– Не бойся, не буду устраивать тебе сцен.

Я проснулся среди ночи как от толчка, напряженный и собранный. Сел на кровати. В комнате было темно, только через приоткрытую дверь из коридора падала тонкая полоска света. Откуда-то доносилось ядовитое шипение и приглушенные тупые удары, как будто

что-то большое билось за стеной. «Метеор, – мелькнула мысль. – Пробил панцирь. Там кто-то есть!»

Протяжный хрип.

От этого я сразу же пришел в себя. Я на станции, не в ракете, а этот ужасный звук...

Я выскочил в коридор. Дверь маленькой лаборатории была открыта настежь, там горел свет. Я вбежал внутрь. На меня хлынул поток ледяного холода. В кабине клубился пар, превращающий дыхание в хлопья снега. Туча белых хлопьев кружилась над завернутым в купальный халат телом, которое едва шевелилось на полу. Это была Хари. Я с трудом разглядел ее в этом ледяном тумане, бросился к ней, схватил, халат обжег мне руки, она хрипела. Я выбежал в коридор, миновал вереницу дверей. Я уже не чувствовал холода, только ее дыхание, вырывающееся из рта облачками пара, как огнем жгло мне плечо.

Я уложил ее на стол, разорвал халат на груди, секунду смотрел в ее перекошенное, дрожащее лицо: кровь замерзла вокруг открытого рта, покрыла губы черным налетом, на языке блеснули кристаллики льда...

Жидкий кислород. В лаборатории был жидкий кислород в сосудах Дьюара; поднимая ее, я чувствовал, что давлую хрустящее стекло. Сколько она могла выпить? Все равно. Сожжены трахеи, горло, легкие, жидкий кислород разъедает сильнее, чем концентрированные кислоты. Ее дыхание скрежещущее, сухое, как звук разрываемой бумаги, пропадало. Глаза были закрыты. Агония.

Я взглянул на большие застекленные шкафы с инструментами и лекарствами. Трахеотомия? Интубация? Но у нее уже нет легких! Сгорели. Лекарства? Сколько лекарств! Полки были заставлены рядами цветных бутылей и коробок. Хрип наполнял всю комнату, из открытого рта Хари все еще шел пар.

Термофоры...

Я начал искать их, но, прежде чем нашел, рванул дверцу другого шкафа, разбросал коробки с ампулами... Теперь шприц... Где он?.. В стерилизаторах... Я не мог собрать его занемевшими руками, пальцы были твердыми и не хотели сгибаться. Начал бешено колотить рукой о крышку стерилизатора, но даже не чувствовал этого. Я ощущал только слабое покалывание.

Лежащая захрипела сильнее. Я подскочил к ней. Ее глаза были открыты.

– Хари!

Это был даже не шепот. Я не мог издать ни звука. Лицо у меня было чужое, словно сделанное из гипса. Ребра у Хари ходили ходуном, волосы, мокрые от растаявшего снега, рассыпались по изголовью. Она смотрела на меня.

– Хари!

Я ничего больше не мог сказать. Стоял, как бревно, с этими чужими деревянными руками. Ступни, губы, веки начинали гореть все сильнее, но я этого почти не чувствовал. Капля растаявшей в тепле крови стекла у нее по щеке, прочертив косую черточку. Язык задрожал и исчез, она все еще хрипела.

Я взял ее запястье – пульса не было, откинул полы халата и приложил ухо к пугающе холодному телу. Сквозь треск, похожий на шум пожара, слышал частые удары, бешеные тона, слишком быстрые, чтобы их можно было сосчитать. Я стоял, низко наклонившись, с закрытыми глазами, когда что-то коснулось моей головы. Ее пальцы перебирали мои волосы. Я посмотрел ей в глаза.

– Крис, – прохрипела она.

Я схватил ее руку, она ответила пожатием, которое чуть не раздавило мою ладонь, между веками блеснули белки, в горле захрипело, и все тело сотрясла рвота. Она свесилась со стола, билась головой о край фарфоровой воронки. Я придерживал ее и прижимал к столу, с каждым новым спазмом она вырывалась, я мгновенно покрывлся потом, и ноги сделались

ватными. Когда рвота ослабла, я попытался ее уложить. Она со стоном хватала воздух. Вдруг на этом страшном окровавленном лице засветились глаза.

– Крис, – захрипела она, – как... как долго, Крис?

Она начала давиться, на губах выступила пена, снова ее раздирала рвота. Я держал Хари из последних сил. Потом она упала навзничь, так что лязгнули зубы, и часто задышала.

– Нет, нет, нет, – выталкивала она быстро с каждым выдохом, и каждый казался последним. Но рвота вернулась еще раз, и снова она билась в моих объятиях, втягивая в коротких перерывах воздух с усилием, от которого выступали все ребра. Наконец веки полуприкрыли ее ослепшие глаза. Она застыла. Я думал, что это конец. Не пытался даже стереть розовую пену с ее рта, стоял над ней наклонившись, слыша где-то далекий большой колокол, и ждал последнего вздоха, чтобы затем упасть на пол, но она все еще дышала, почти без хрипа, все тише, холмик груди, который казался почти совсем уже недвижимым, вдруг стал вздрагивать в ритме работающего сердца. Я стоял сгорбившись. Ее лицо начало розоветь. Я еще ничего не понимал. Только обе ладони у меня вспотели, и мне казалось, что я гложу, – что-то мягкое, эластичное наполнило уши, я все еще слышал тот звенящий колокол, теперь глухой, словно он треснул.

Она подняла веки, и наши глаза встретились.

«Хари», – хотел сказать я, но у меня как будто не было рта, лицо было мертвой тяжелой маской, и я мог только смотреть.

Ее глаза обежали комнату, голова пошевелилась. Было совсем тихо. За мной, в каком-то другом, далеком мире, из неплотно закрытого крана мерно капала вода. Хари приподнялась на локте. Села. Я попятился. Хари наблюдала за мной.

– Что, – спросила она, – что?.. Не... удалось? Почему? Почему ты так смотришь?..

И неожиданно страшный крик:

– Почему ты так смотришь?!

Снова стало тихо. Она посмотрела на свои руки. Пошевелила пальцами.

– Это... я?

– Хари, – произнес я беззвучно, одними губами.

– Хари?... – повторила она, подняв голову, медленно сползла на пол и встала.

Пошатнулась, потом выпрямилась, прошла несколько шагов. Все это она делала в каком-то трансе, смотрела на меня и словно не видела.

– Хари? – медленно повторила она еще раз. – Но... я... не Хари. А кто – я? Хари? А ты, ты?!

Вдруг ее глаза расширились, заблестели, и тень улыбки и радостного недоумения осветила ее лицо.

– Может быть, ты тоже? Крис! Может, ты тоже?

Я молчал, прижавшись спиной к шкафу, там, куда загнал меня страх. У нее упали руки.

– Нет. Нет, ты боишься. Слушай, я больше не могу. Так нельзя. Я ничего не знала. Я сейчас... я же ничего не понимаю. Ведь это невозможно? Я, – она прижала ослабевшие руки к груди, – ничего не знаю, кроме... кроме Хари! Может, ты думаешь, что я притворяюсь? Я не притворяюсь, да, да, не притворяюсь.

Последние слова перешли в стон. Она упала на пол и разрыдалась. Ее крик словно что-то во мне разбил, одним прыжком я оказался около нее, схватил за плечи; она защищалась, отталкивала меня, рыдая без слез, кричала:

– Пусти! Пусти! Тебе противно! Знаю! Не хочу так! Не хочу! Ты сам видишь, сам видишь, что это не я, не я, не я...

– Молчи! – кричал я, трясая ее.

Мы оба кричали, не сознавая этого, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хари моталась, ударяясь о мои плечи, я прижимал ее к себе изо всех сил. Тяжело дыша, мы замерли. Вода мерно капала из крана.

– Крис... – с трудом проговорила она, прижимаясь лицом к моей груди. – Скажи, что мне сделать, чтобы меня не было, Крис...

– Перестань! – заорал я.

Она подняла лицо, всматриваясь в меня.

– Как?.. Ты тоже не знаешь? Ничего нельзя придумать? Ничего?

– Хари... сжался...

– Я хотела... я знала. Нет. Нет. Пусти. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Тебе противно.

– Неправда!

– Лжешь! Тебе должно быть противно. Мне... мне самой... тоже. Если бы я могла. Если бы только могла...

– Убила бы себя?

– Да.

– А я не хочу, понимаешь? Не хочу этого. Хочу, чтобы ты была здесь, со мной, и ничего другого мне не нужно!

Огромные серые глаза проглотили меня.

– Как ты лжешь, – сказала она совсем тихо.

Я отпустил ее и встал с колен. Она уселась на полу.

– Скажи, как мне сделать, чтобы ты поверила, что я говорю то, что думаю? Что это правда. Что другой нет.

– Ты не можешь говорить правду. Я не Хари.

– А кто же ты?

Она долго молчала. У нее задрожал подбородок и, опустив голову, она прошептала:

– Хари... но... но я знаю, что это неправда. Ты не меня любил там... раньше...

– Да. Того, что было, нет. Это умерло. Но здесь я люблю тебя. Понимаешь?

Она покачала головой.

– Ты добрый. Не думай, пожалуйста, что я не могу оценить всего, что ты делал. Ты делал хорошо, как мог. Но здесь ничем не поможешь. Когда три дня назад я сидела утром у твоей постели и ждала, пока ты проснешься, я не знала ничего. У меня такое чувство, словно это было очень, очень давно. Я вела себя так, будто сошла с ума. В голове у меня все перемешалось. Я не понимала, что было раньше, а что позднее, и ничему не удивлялась, как после наркоза или долгой болезни. И даже думала, что, может, я болела, только ты не хочешь этого говорить. Но потом все больше мелочей заставило меня задуматься. Какие-то проблески появились после твоего разговора в библиотеке с этим, как его, со Снаутом. Но ты не хотел мне ничего говорить, тогда я ночью встала и включила магнитофон. Соврала тебе только один-единственный раз, я его спрятала потом, Крис. Тот, кто говорил, как его звали?

– Гибарян.

– Да, Гибарян. Тогда я узнала все, хотя, честно говоря, так ничего и не понимаю. Я не знала одного, что не могу... я не... это так и будет... без конца. Об этом он ничего не говорил. Впрочем, может, и говорил, но ты проснулся, и я выключила магнитофон. Но и так услышала достаточно, чтобы понять, что я не человек, а только инструмент.

– Что ты говоришь?

– Да. Для изучения твоих реакций или что-то в этом роде. У каждого из вас есть такое... такая, как я. Это основано на воспоминаниях или фантазии... подавленной. Что-то в этом роде. Впрочем, ты все это знаешь лучше меня. Он говорил страшные, неправдоподобные вещи, и, если бы все это так не совпадало, я бы, пожалуй, не поверила!

– Что не совпадало?

– Ну, что мне не нужен сон и что я все время должна быть около тебя. Еще вчера утром я думала, что ты меня ненавидишь, и от этого была несчастна. Какая же я была глупая! Но скажи, сам скажи, разве я могла представить? Ведь он совсем не ненавидел ту, свою, но как он о ней говорил! Только тогда я поняла, что, как бы я ни поступала, это ничего не меняет, потому что, хочу я или нет, для тебя это все равно будет пыткой. И даже еще хуже, потому что орудия пытки мертвые и безвинные, как камень, который может упасть и убить. А чтобы орудие могло желать добра и любить, такого я не могла себе представить. Мне хотелось бы рассказать тебе хотя бы то, что во мне происходило тогда, потом, когда я все поняла, когда я слушала эту пленку. Может быть, это принесет тебе какую-нибудь пользу. Я даже пробовала записать...

– Поэтому ты и зажгла свет? – спросил я, с трудом издавая звуки сдавленным горлом.

– Да. Но из этого ничего не вышло. Потому что я искала в себе... их – этого другого, я словно сошла с ума. Некоторое время мне казалось, что у меня под кожей нет тела, что во мне что-то иное, что я только... только снаружи... Чтобы тебя обмануть. Понимаешь?

– Понимаю.

– Если так вот лежать часами в ночи, то мыслями можно уйти очень далеко, в очень странном направлении, знаешь...

– Знаю...

– Но я ощущала свое сердце и еще помнила, что ты брал у меня кровь. Какая у меня кровь? Скажи мне, скажи правду! Теперь ведь можно.

– Такая же, как моя.

– Правда?

– Клянусь тебе!

– Что это значит? Знаешь, я думала, что то спрятано где-то во мне, если оно... ведь оно может быть очень маленьким. Но я не знала где. Теперь я думаю, что это были просто увертки с моей стороны, я очень боялась того, что хотела сделать, и искала какой-то другой выход. Но, Крис, если у меня такая же кровь... если все так, как ты говоришь, то... Нет, это невозможно. Ведь я бы уже умерла, правда? Значит, что-то все-таки есть, но где? Может, в голове? Но я ведь мыслю совершенно обычно... и ничего не знаю... Если бы я мыслила тем, то должна была бы сразу все знать и не любить тебя, а только притворяться и понимать, что притворяюсь... Крис, прошу тебя, скажи мне все, что тебе известно, может, все-таки удастся что-нибудь сделать?

– Что должно удастся?

Она молчала.

– Хочешь умереть?

– Наверно.

Снова стало тихо. Я стоял над съезжившейся Хари, глядя на пустой зал, на белые эмалированные плиты оборудования, на блестящие рассыпанные инструменты, как будто отыскивал что-то очень нужное и не мог этого найти.

– Хари, можно мне что-то тебе сказать?

Она ждала.

– Это правда, ты не точно такая же, как я. Но это не значит, что ты хуже. Наоборот. Впрочем, можешь думать об этом что хочешь, но благодаря этому... ты не умерла.

Какая-то детская жалобная улыбка появилась на ее лице.

– Так что же, я... бессмертна?

– Не знаю. Во всяком случае, гораздо менее смертна, чем я.

– Это страшно, – шепнула она.

– Может быть, не так, как кажется.

– Но ты не завидуешь мне...

– Хари, это, пожалуй, вопрос твоего... предназначения, так бы я это назвал. Понимаешь, здесь, на станции, твое предназначение, в сущности, так же туманно, как и мое и каждого из нас. Те двое будут продолжать эксперимент Гибаряна, и может случиться все...

– Или ничего...

– Или ничего. И скажу тебе, я хотел бы, чтобы ничего не случилось, даже не из страха (хотя он тоже играет какую-то роль), а потому, что это ничего не даст. Только в этом я совершенно уверен.

– Ничего не даст. А почему? Речь идет об этом... океане?

Она вздрогнула.

– Да. О контакте. Они думают, что это очень просто. Контакт означает обмен какими-то сведениями, понятиями, результатами... Но если нечем обмениваться? Если слон не является очень большой бактерией, то океан не может быть очень большим мозгом. С обеих сторон могут, конечно, производиться какие-то действия. В результате одного из них я смотрю сейчас на тебя и пытаюсь тебе объяснить, что ты мне дороже, чем те двенадцать лет жизни, которые я посвятил Солярису, и что я хочу быть с тобой. Может, твое появление мыслилось пыткой для меня, может, услугой, может, микроскопическим исследованием. Выражением дружбы, коварным ударом или издевательством? Может быть, всем вместе или – что кажется мне самым правдоподобным – чем-то совершенно иным. Но в конце концов разве нас должны занимать намерения наших родителей, как бы они друг от друга ни отличались? Ты можешь сказать, что от этих намерений зависит наше будущее, и с этим я соглашусь. Я не могу предвидеть того, что будет. Так же, как ты. Не могу даже обещать тебе, что буду любить тебя всегда. После того, что случилось, я ничему не удивлюсь. Может, завтра ты станешь зеленой медузой? Это от нас не зависит. Но в том, что зависит от нас, будем вместе. Разве этого мало?

– Слушай, – сказала она, – есть кое-что еще... Я... на нее... очень похожа?

– Была очень похожа, но теперь я уже не знаю.

– Как это?..

Она смотрела на меня большими глазами.

– Ты ее уже заслонила.

– И ты уверен, что ты не ее, а меня?.. Меня?..

– Да. Тебя. Не знаю. Боюсь, что, если бы ты и вправду была ею, я не мог бы тебя любить.

– Почему?

– Потому что сделал ужасную вещь.

– Ей?

– Да. Когда мы были...

– Не говори.

– Почему?

– Потому что хочу, чтобы ты знал: я – не она.

Разговор

На следующий день, вернувшись с обеда, я нашел на столе под окном записку от Снаута. Он сообщал, что Сарториус пока прекратил работу над аннигилятором и попытается в последний раз воздействовать на океан пучком жесткого излучения.

– Дорогая, – сказал я Хари, – мне нужно сходить к Снауту.

Красный восход горел над океаном и делил комнату на две части. Мы стояли в тени. За ее пределами все казалось сделанным из меди, можно было подумать, что любая книжка, упав с полки, зазвенит.

– Речь идет о том эксперименте. Только не знаю, как это сделать. Я предпочел бы, понимаешь...

– Не объясняй, Крис. Мне и самой так хочется... Если бы это не длилось долго...

– Ну, немного поговорить, положим, придется. Слушай, может, ты пойдешь со мной, но подождешь в коридоре?

– Хорошо. А вдруг я не выдержу?

– Как это происходит? – спросил я и быстро добавил: – Я спрашиваю не из любопытства, понимаешь? Но, возможно, разобравшись, ты сама могла бы с этим справиться.

– Я боюсь... – ответила она, немного побледнев. – Я даже не могу сказать, чего боюсь, потому что, собственно, не боюсь, а только... как бы исчезаю. В последний момент чувствую такой стыд, не могу объяснить. А потом уже ничего нет. Потому я и думала, что это такая болезнь... – закончила она тихо и вздрогнула.

– Может быть, так только здесь, на этой проклятой станции, – заметил я. – Что касается меня, то я сделаю все, чтобы мы ее как можно скорее покинули.

– Думаешь, это возможно?

– Почему бы нет? В конце концов я не прикован к ней... Впрочем, это будет зависеть также от того, что мы решим со Снаутом. Как ты думаешь, ты долго сможешь пробыть одна?

– Это зависит... – проговорила она медленно и опустила голову. – Если буду слышать твой голос, то, пожалуй, справлюсь с собой.

– Лучше тебе не слушать наш разговор. Не то чтобы я хотел от тебя что-нибудь скрыть, просто не знаю, что скажет Снаут...

– Не надо. Я понимаю. Хорошо. Я встану так, чтобы слышать только звук твоего голоса. Этого мне достаточно.

– Тогда я позвоню ему сейчас из лаборатории. Двери я оставляю открытыми.

Она кивнула. Сквозь стену красного света я вышел в коридор – он мне показался почти черным, хотя там горели лампы. Дверь маленькой лаборатории была открыта. Блестящие осколки сосуда Дьюара, которые лежали на полу под большими резервуарами жидкого кислорода, были последним следом ночного происшествия. Когда я снял трубку и набрал номер радиостанции, маленький экран засветился. Потом синеватая пленка света, как бы покрывающая матовое стекло, лопнула, и Снаут, перегнувшись боком через ручку высокого кресла, заглянул мне прямо в глаза.

– Приветствую, – услышал я.

– Я прочитал записку. Мне хотелось бы поговорить с тобой. Могу я прийти?

– Можешь. Сейчас?

– Да.

– Прошу. Будешь с... не один?

– Один.

Его бронзовое от ожога худое лицо с резкими поперечными морщинами на лбу, наклоненное над выпуклым стеклом (он был похож на какую-то удивительную рыбу, живущую в аквариуме), приобрело многозначительное выражение.

– Ну, ну. Итак, жду.

– Пойдем, дорогая, – искусственно бодрым голосом произнес я, входя в комнату сквозь красные полосы света, за которыми видел только силуэт Хари.

Голос у меня оборвался. Она сидела, забившись в кресло, вцепившись в него руками. Либо она слишком поздно услышала мои шаги, либо не могла сразу ослабить эту страшную хватку и принять нормальное положение. Мне было достаточно и того, что я секунду видел, как она боролась с непонятной силой, которая в ней крылась, и меня захлестнула волна слепого сумасшедшего гнева, перемешанного с жалостью. Мы молча пошли по длинному коридору, минуя его секции, покрытые разноцветной эмалью, которая должна была – по замыслу архитекторов – разнообразить пребывание в этой бронированной скорлупе. Уже издали я увидел приоткрытую дверь радиостанции. Из нее в коридор падала тонкая длинная красная полоса света: солнце добралось и сюда. Я посмотрел на Хари, которая даже не пыталась улыбаться. Я видел, как она всю дорогу сосредоточенно готовилась к борьбе с собой. Напряжение уже сейчас изменило ее лицо, оно побледнело и словно стало меньше. Не дойдя до двери несколько шагов, она остановилась. Я обернулся, но она легонько подтолкнула меня кончиками пальцев. В этот момент мои планы, Снаут, эксперимент, станция – все показалось мне ничтожным по сравнению с той мукой, которую ей предстояло перенести.

Я почувствовал себя палачом и уже хотел вернуться, когда широкую полосу солнечного света заслонила тень человека. Ускорив шаги, я вошел в комнату. Снаут стоял у самого порога, как будто шел мне навстречу. Красное солнце пылало прямо за его спиной, и от его седых волос, казалось, исходило пурпурное сияние. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Он словно изучал мое лицо. Его лица я не видел, ослепленный блеском. Я обошел Снаута и остановился у высокого пульта, из которого торчали гибкие стебли микрофонов. Он медленно повернулся, спокойно следя за мной, и, по обыкновению, слегка кривил рот в гримасе, которая иногда казалась улыбкой, а иногда выражением усталости. Не спуская с меня глаз, он подошел к металлическому шкафу во всю стену, по обеим сторонам которого громоздились сваленные кое-как груды запасных деталей радиоаппаратуры, термоаккумуляторы и инструменты, подтащил туда кресло и сел, опершись на эмалированную дверцу.

Молчание, которое мы по-прежнему хранили, становилось по меньшей мере странным. Я сосредоточенно вслушивался в тишину коридора, где осталась Хари, но оттуда не доносилось ни звука.

– Когда вы будете готовы? – спросил я.

– Можно бы начать даже сегодня, но запись займет еще немного времени.

– Запись? Ты имеешь в виду энцефалограмму?

– Ну да, ты ведь согласился. А что?

– Нет, ничего.

– Я слушаю, – проговорил Снаут, когда молчание стало угнетающим.

– Она уже знает... о себе. – Я понизил голос до шепота. Он поднял брови:

– Да?

У меня создалось впечатление, что он не был удивлен по-настоящему. Зачем он притворялся? Мне сразу же расхотелось говорить, но я превозмог себя. «Пусть это будет лояльность, – подумал я, – если уж нет ничего больше».

– Начала догадываться после нашей беседы в библиотеке, наблюдала за мной, сопоставляла одно с другим, потом нашла магнитофон Гибаряна и прослушала пленку...

Он не изменил позы, по-прежнему опирался о шкаф, но в его глазах зажглись огоньки. Стоя у пульта, я видел открытую дверь в коридор. Я заговорил еще тише.

– Этой ночью, когда я спал, она пыталась себя убить. Жидкий кислород...

Что-то зашелестело, словно бумага на сквозняке. Я застыл, прислушиваясь к тому, что происходило в коридоре, но источник звука находился ближе. Что-то заскреблось, как мышь. Мышь! Чепуха! Не было тут никаких мышей. Я исподлобья посмотрел на Снаута.

– Слушаю, – сказал он спокойно.

– Разумеется, ей это не удалось... во всяком случае она знает, кто она.

– Зачем ты мне это говоришь? – спросил он быстро.

Я не сразу сообразил, что ответить.

– Хочу, чтобы ты ориентировался... чтобы понимал положение...

– Я тебя предостерегал.

– Ты хочешь сказать, что знал... – Я невольно повысил голос.

– Нет. Конечно, нет. Но я объяснял тебе, как это происходит. Каждый «гость» в момент появления действительно только фантом и вне хаотичной мешанины воспоминаний и образов, почерпнутых у своего... Адама... совершенно пуст. Чем дольше он с тобой, тем больше очеловечивается. Приобретает самостоятельность, до определенных границ, конечно. И поэтому чем дольше это продолжается, тем труднее...

Он не договорил. Посмотрел на меня исподлобья и нехотя бросил:

– Она все знает?

– Да, я же сказал.

– Все? И то, что один раз уже была здесь, и что ты...

– Нет!

Он усмехнулся.

– Кельвин, слушай, если до такой степени... что ты собираешься делать? Покинуть станцию?

– Да.

– С ней?

– Да.

Он молчал, как бы задумавшись над моим ответом, но в его молчании было еще что-то... Что? Снова этот неуловимый шелест тут, прямо за тонкой стенкой. Он пошевелился в кресле.

– Отлично. Что ты так смотришь? Думаешь, я встану у тебя на пути? Сделаешь, как захочешь, мой милый. Хорошо бы мы выглядели, если бы вдобавок ко всему начали еще применять принуждение! Я не собираюсь тебе мешать, только скажу: ты пытаешься в нечеловеческой ситуации поступать как человек. Может, это красиво, но бесполезно. Впрочем, в красоте я тоже не уверен. Разве глупость может быть красивой? Но не в этом дело. Ты отказываешься от дальнейших экспериментов, хочешь уйти и забрать ее. Так?

– Так.

– Но это тоже эксперимент. Ты подумал об этом?

– Что ты имеешь в виду? Разве она... сможет?... Если вместе со мной, то не вижу...

Я говорил все медленней, потом остановился. Снаут легко вздохнул.

– Мы все проводим здесь страусову политику, Кельвин, но по крайней мере знаем об этом и не демонстрируем своего благородства.

– Я ничего не демонстрирую.

– Ладно. Я не хотел тебя обидеть. Беру назад то, что сказал о благородстве, но страусова политика остается в силе. Ты проводишь эту политику в особенно опасной форме. Обманываешь себя, и ее, и снова себя. Ты знаешь условия стабилизации системы, построенной из нейтринной материи?

– Нет. И ты не знаешь. Этого никто не знает.

– Разумеется. Но известно одно: такая система неустойчива и может существовать только благодаря непрекращающемуся притоку энергии. Мне объяснил Сарториус. Эта энергия создает вихревое стабилизирующее поле. Так вот: является ли это поле внешним по отношению к «гостю»? Или же источник поля находится в его теле? Понимаешь разницу?

– Да. Если оно внешнее, то... она, то... такая...

– То, удалившись от Соляриса, такая система распадется, – dokonчил он за меня. – Утверждать этого мы не можем, но ты ведь уже проделал эксперимент. Та ракета, которую ты запустил... она все еще на орбите. Я улучил минуту и определил элементы ее движения. Можешь полететь, выйти на орбиту, приблизиться и проверить, что стало с... пассажиркой.

– Ты спятил! – крикнул я.

– Думаешь? Ну... а если бы... стащить сюда эту ракету? Это можно сделать. Есть дистанционное управление. Сними ее с орбиты...

– Перестань!

– Тоже нет? Что ж, есть еще один способ, очень простой. Не нужно даже сажать ее на станции. Зачем? Пусть себе кружится. Мы только свяжемся с ней по радио; если она жива, то ответит...

– Но... но там давно кончился кислород! – выдавил я из себя.

– Она может обходиться без кислорода. Ну, попробуем?

– Снаут... Снаут...

– Кельвин... Кельвин... – передразнил он меня сердито. – Подумай, что ты за человек. Кого хочешь осчастливить? Спасти? Себя? Ее? Которую? Эту или ту? На обеих смелости уже не хватает? Сам видишь, к чему это приводит! Говорю тебе последний раз: здесь ситуация вне моральных норм.

Вдруг я снова услышал тот же звук, будто кто-то царапал ногтями по стене. Меня охватило какое-то пассивное безразличие. Я чувствовал себя так, будто всю эту ситуацию, нас обоих, все рассматривал с огромного расстояния в перевернутый бинокль: маленькое, немного смешное, несущественное.

– Ну хорошо, – сказал я. – И что, по-твоему, я должен сделать? Устранить ее? Завтра явится такая же самая, правда? И еще раз? И так будет каждый день? Как долго? Зачем? Какая мне от этого польза? А тебе? Сарториусу? Станции?

– Нет, сначала ты мне ответь. Улетишь с ней и, скажем, будешь свидетелем наступающей перемены. Через пару минут увидишь перед собой...

– Ну что? – спросил я кисло. – Чудовище? Черта? Что?

– Нет. Самую обыкновенную агонию. Ты действительно поверил в ее бессмертие? Уверяю тебя, они умирают... Что сделаешь тогда? Вернешься за... резервной?

– Перестань! – Я стиснул кулаки.

Он смотрел на меня со снисходительной усмешкой в прищуренных глазах.

– А, это я должен перестать? Знаешь, на твоём месте я бы прекратил этот разговор. Лучше уж делай что-нибудь другое, можешь, например, из мести высечь океан розгами. Что тебя мучает? Если... – он сделал рукой утрированный прощальный жест и одновременно поднял голову к потолку, как будто следил за каким-то улетающим предметом, – то будешь подлецом? А так – нет. Если улыбаешься, когда хочется выть, изображаешь радость и спокойствие, когда хочется колотиться головой о стену, тогда не подлец? А если здесь нельзя не быть им? Что тогда? Бросаться на Снаута, который во всем виноват, да? Ну, так вдобавок ты еще и идиот, мой милый...

– Ты говоришь о себе, – пробурчал я, опустив голову. – Я... люблю ее.

– Кого? Свое воспоминание?

– Нет. Ее. Я сказал тебе, что она хотела сделать. Так не поступили бы многие... настоящие люди.

– Сам признаешь...

– Не лови меня на слове.

– Хорошо. Итак, она тебя любит. А ты хочешь ее любить. Это не одно и то же.

– Ошибаешься.

– Кельвин, мне очень неприятно, но ты сам заговорил о своих интимных делах. Не любишь. Любишь. Она готова отдать жизнь. Ты тоже. Очень трогательно, очень красиво, возвышенно, все, что хочешь. Но всему этому здесь нет места. Нет. Понимаешь? Нет, ты этого не хочешь понять. Силами, над которыми мы не властны, ты вовлечен в замкнутый кольцевой процесс, где она частица. Фаза. Повторяющийся ритм. Если бы она была... если бы тебя преследовало готовое сделать для тебя все страшилище, ты бы ни секунды не колебался, чтобы устранить его. Правда?

– Правда.

– А может... может, именно потому она и не выглядит таким страшилищем?! Это связывает тебе руки? Да ведь о том-то и идет речь, чтобы они оставались связанными!

– Это еще одна гипотеза в дополнение к миллиону тех, в библиотеке. Снаут, оставь это, она... Нет. Не хочу об этом с тобой говорить.

– Хорошо. Сам начал. Но подумай только, что, в сущности, она зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Если она прекрасна, то только потому, что прекрасно было твое воспоминание. Ты дал рецепт. Кольцевой процесс, не забывай.

– Ну и чего же ты хочешь от меня? Чтобы я... чтобы я ее... устранил? Я уже спрашивал тебя: зачем? Ты не ответил.

– Сейчас отвечу. Я не напрашивался на этот разговор. Не лез в твои дела. Ничего тебе не приказывал и не запрещал, и не сделал бы этого, даже если бы мог. Ты сам пришел сюда и выложил мне все, а знаешь зачем? Нет? Затем, чтобы снять это с себя. Свалить. Я знаю эту тяжесть, мой дорогой! Да, да, не прерывай меня! Я тебе не мешаю ни в чем, но ты хочешь, чтобы помешал. Если бы я стоял у тебя на пути, может, ты бы мне голову разбил. Тогда имел бы дело со мной, с кем-то, слеplенным из той же крови и плоти, что и ты, и сам бы чувствовал себя как человек. А так... не можешь с этим справиться и поэтому споришь со мной... а по сути дела, с самим собой! Скажи мне еще, что ты бы ужасно страдал, если бы она вдруг исчезла... нет, ничего не говори.

– Ну вот! Я пришел сообщить просто из чувства лояльности, что собираюсь покинуть с ней станцию, – отбивал я его атаку, но для меня самого это прозвучало неубедительно.

Снаут пожал плечами.

– Очень может быть, что ты останешься при своем мнении. Если я и высказался по этому поводу, то лишь потому, что ты лезешь все выше, а падать с высоты – сам понимаешь... Приходи завтра утром около девяти наверх, к Сарториусу... Придешь?

– К Сарториусу? – удивился я. – Но ведь он никого не выпускает. Ты говорил, что даже позвонить нельзя.

– Теперь у него все как-то утряслось. Мы с ним об этом не говорим. Ты... совсем другое дело. Ну, это не важно. Придешь завтра?

– Приду.

Я смотрел на Снаута. Его левая рука будто случайно скрылась за дверцей шкафа. Когда приоткрылась дверца? Пожалуй, это произошло уже давно, но в пылу неприятного для меня разговора я не обратил внимания. Как неестественно это выглядело... Словно... он что-то там прятал. Или кто-то держал его за руку.

Я облизал губы.

– Снаут, что ты?..

– Выйди, – сказал он тихо и очень спокойно. – Выйди.

Я вышел и закрыл за собой дверь, освещенную догорающим красным заревом. Хари сидела на полу, в каких-нибудь десяти шагах от двери, у самой стены. Увидев меня, вскочила.

– Видишь? – сказала она, глядя на меня блестящими глазами. – Удалось, Крис... Я так рада. Может... может, все обойдется...

– О, наверняка, – ответил я рассеянно.

Мы возвращались к себе, а я ломал голову над загадкой этого идиотского шкафа. Значит, прятал там?... И весь этот разговор... Щеки у меня начали гореть так, что я невольно потерял их. Что за сумасшествие! И до чего мы договорились? Ни до чего. Правда, завтра утром...

И вдруг меня охватил страх, почти такой же, как в последнюю ночь. Моя энцефалограмма... Полная запись всех мозговых процессов, переведенная в колебания пучка лучей, будет послана вниз. В глубины этого необъятного безбрежного чудища. Как он сказал: «Если бы она исчезла, ты бы ужасно страдал, а?..» Энцефалограмма – это полная запись. Подсознательных процессов тоже. А если я хочу, чтобы она исчезла, умерла? Разве иначе я бы удивился, что она осталась жива после этой ужасной попытки покончить с собой? Можно ли отвечать за собственное подсознание? Но если я не отвечаю за него, то кто?.. Что за идиотизм? За каким чертом я согласился, чтобы именно мою... мою... Конечно, я могу эту запись предварительно просмотреть, но прочитать не сумею. Этого никто не сможет. Специалисты в состоянии лишь определить, о чем думал подопытный, но только в самых общих чертах: например, решал математическую задачу, но сказать какую они уже не в состоянии. Утверждают, что это невозможно, так как энцефалограмма – случайная смесь огромного множества одновременно протекающих процессов, и только часть их имеет психическую «подкладку». А подсознание?.. О нем вообще не хотят говорить, а где уж им прочесть чьи-то воспоминания, подавленные или неподдавленные... Но почему я так боюсь? Сам ведь говорил утром Хари, что этот эксперимент ничего не даст. Уж если наши нейрофизиологи не умеют читать записи, то как же этот страшно чужой, черный, жидкий гигант...

Но он вошел в меня неизвестно как, чтобы измерить всю мою память и найти самое уязвимое место. Как же в этом можно усомниться? Без всякой помощи, без какой-либо «лучевой передачи», вторгся сквозь дважды герметизированный панцирь, сквозь тяжелую броню станции, нашел в ней меня и ушел с добычей...

– Крис?.. – тихо позвала Хари.

Я стоял у окна, уставившись невидящими глазами в сгущающуюся тьму.

Если она потом исчезнет, это будет означать, что я хотел... Что я убил ее. Не ходить туда? Они не могут меня заставить. Но что я скажу им? Это – нет. Не могу. Значит, нужно притворяться, нужно врать, снова и всегда. И это потому, что, может быть, во мне есть мысли, намерения, надежды, страшные, преступные, а я ничего о них не знаю. Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, забаррикадированных темных дверей. Выдать им ее... от стыда? Выдать только потому, что у меня недостает отваги?

– Крис... – еще тише шепнула Хари.

Я скорее почувствовал, чем услышал, как она бесшумно подошла ко мне, и притворился, что ничего не заметил. В этот момент я хотел быть один. Мне нужно было побыть одному. Я еще ни на что не решился, ни к чему не пришел. Глядя в темнеющее небо, в звезды, которые были только призрачной тенью земных звезд, я стоял без движения, а в пустоте, пришедшей на смену бешеной гонке мыслей, росла без слов мертвая, равнодушная уверенность, что там, в недостижимых для меня глубинах сознания, там я уже выбрал и, притворяясь, будто ничего не случилось, не имел даже силы презирать себя.

Эксперимент

– Крис, это из-за того эксперимента?

От звука ее голоса я вздрогнул. Я уже несколько часов лежал без сна, уставившись в темноту, совсем один. Я не слышал даже ее дыхания, и в запутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, наполовину бессмысленных и приобретающих от этого новое значение, забыл о ней.

– Что... откуда ты знаешь, что я не сплю?... – Мой голос звучал испуганно.

– По тому, как ты дышишь... – ответила она тихо и как-то виновато. – Я не хотела тебе мешать... Если не можешь, не говори...

– Нет, почему же. Да, это тот эксперимент. Ты угадала.

– Чего они от него ждут?

– Сами не знают. Чего-то. Чего-нибудь. Эта операция называется не «Мысль», а «Отчаяние». Теперь нужно только одно: человек, у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение, – но этот род смелости большинство считает обычной трусостью, потому что это отступление, примирение, бегство, недостойное человека. Как будто достойно человека вязнуть, захлебываться и тонуть в чем-то, чего он не понимает и никогда не поймет.

Я остановился, но, прежде чем мое учащенное дыхание стало ровным, новая волна гнева захлестнула меня:

– Разумеется, никогда нет недостатка в людях с практическим взглядом. Они говорили, что даже если контакт не удастся, то, изучая эту плазму – все эти шальные живые образования, которые выскакивают из нее на сутки, чтобы снова исчезнуть, – мы познаем тайну материи, будто не понимали, что это ложь, что это равносильно посещению библиотеки, где книги написаны на неизвестном языке, так что можно только рассматривать разноцветные переплеты... А как же!

– А есть еще такие планеты?

– Неизвестно. Может, и есть, но мы знаем только одну. Во всяком случае, это что-то очень редкое, не такое, как Земля. Мы... мы обычные, мы трава Вселенной и гордимся этой нашей обыкновенностью, которая так всеобща, и думаем, что в ней все можно уместить. Это была такая схема, с которой отправлялись смело и радостно вдаль, в иные миры! Но что же это такое, иные миры? Мы их покорим или они нас – ни о чем другом и не думали... А, ладно. Не стоит.

Я встал и на ощупь нашел в аптечке плоскую коробочку со снотворным.

– Буду спать, дорогая, – сказал я, отворачиваясь в темноту, в которой где-то высоко шумел вентилятор. – Должен заснуть.

Утром, когда я проснулся свежим и отдохнувшим, эксперимент показался мне чем-то совсем незначительным. Я не понимал, как мог придавать ему такое значение. То, что Хари должна пойти со мной в лабораторию, тоже мало меня волновало. Все ее усилия становились напрасными после того, как я на несколько минут уходил из комнаты. Я отказался от дальнейших попыток, на которых она настаивала (она соглашалась даже, чтоб я ее запер), и посоветовал ей взять с собой какую-нибудь книжку.

Больше самой процедуры меня интересовало, что я увижу в лаборатории. Кроме больших дыр в стеллажах и шкафах (в некоторых шкафах не доставало стенок, а плита одной двери была в звездообразных трещинах, словно здесь недавно происходила борьба и ее следы были поспешно, но ловко ликвидированы), в этом светло-голубом зале не было ничего примечательного.

Снаут, хлопотавший возле аппаратуры, вел себя весьма сдержанно, приняв появление Хари за нечто совершенно обыкновенное, и слегка поклонился ей издали. Когда он смачивал мне виски и лоб физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вошел в маленькую дверь, ведущую куда-то в темноту. На нем был белый халат и черный защитный фартук, достававший до щиколоток. Он поздоровался со мной так, будто мы были сотрудниками большого земного института и расстались только вчера. Лишь теперь я заметил, что мертвое выражение его лицу придают контактные стекла, которые он носил под веками вместо очков.

Скрестив на груди руки, Сарториус смотрел, как Снаут обматывает бинтом приложенные к моей голове электроды. Он несколько раз оглядел зал, как бы вообще не замечая Хари, которая сидела на маленькой скамеечке у стены, съежившаяся, несчастная, и притворялась, что читает книгу. Снаут отошел от моего кресла. Я пошевелил тяжелой от металла и проводов головой, чтобы видеть, как он включает аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руки и заговорил с воодушевлением:

— Доктор Кельвин, прошу вас быть внимательным. Я не намерен ничего вам приказывать, так как это не дало бы результата, но прошу перестать думать о себе, обо мне, о коллеге Снауте, о каких-либо других лицах, чтобы исключить все случайности и сосредоточиться на деле, для которого мы здесь находимся. Земля и Солярис, поколения исследователей, составляющих единое целое, хотя жизнь отдельных людей имеет начало и конец, наша настойчивость в стремлении установить интеллектуальный контакт, длина исторического пути, пройденного человечеством, уверенность в том, что он будет продолжен, готовность к любым жертвам и трудностям, к подчинению всех личных чувств этой нашей миссии — вот темы, которые должны заполнить ваше сознание. Правда, течение мыслей не зависит целиком от вашего желания, но то, что вы здесь находитесь, подтверждает истинность указанной мной последовательности. Если вы не будете уверены, что справились с задачей, прошу сообщить об этом, коллега Снаут повторит запись. Времени у нас достаточно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.